

ГРЭМ РОББ

ЖИЗНЬ ГЮГО

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ



Исключительная биография

Грэм Робб

Жизнь Гюго

«Центрполиграф»

1997

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)

Робб Г.

Жизнь Гюго / Г. Робб — «Центрполиграф»,
1997 — (Исключительная биография)

ISBN 978-5-227-05847-8

Предлагаемая читателю биография великого французского писателя принадлежит перу крупнейшего специалиста по истории, культуре и литературе Франции. Грэм Робб – не только блестящий знаток жизни и творчества В. Гюго, но и великолепный рассказчик, благодаря чему его исследование приобретает черты захватывающего романа.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)

ISBN 978-5-227-05847-8

© Робб Г., 1997
© Центрполиграф, 1997

Содержание

Предисловие	6
Часть первая	10
Глава 1. Сабля в ночи (1802–1803)	10
Глава 2. Тайны (1804–1810)	18
Глава 3. Бедствия войны (1811–1815)	27
Глава 4. Метромания (1815–1818)	38
Конец ознакомительного фрагмента.	45
Комментарии	

Грэм Робб

Жизнь Гюго

© Graham Robb 1997

© Перевод, «Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016

Предисловие

Стоит лишь взглянуть на XIX век, и видишь разных Викторов Гюго – причем каждого из них сопровождает собственная противоположность: ангельский чудо-ребенок первых романтиков и сатанинский «Аттила французского языка»^[1]; воинствующий монархист и социалист-революционер; символ загнивающей аристократии и защитник отверженных; усмиритель восстаний и подстрекатель к мятежу.

В 1851 году, когда Гюго бежал из Франции, он считался самым знаменитым писателем своего времени, основателем двух отдельных этапов романтизма. Его влияние на французскую литературу по степени уступает лишь влиянию Библии. Во время долгой ссылки, познакомившись с новой аудиторией, Океаном, он открыл в себе множество других качеств. Он был поэтом-провидцем, который изобрел новую религию; его произведения хвалили Иисус Христос и Шекспир. Он стал кумиром борцов за свободу во всем мире – от Сербии до Южной Америки.

После падения Второй империи, в 1870 году, Гюго вернулся в Париж, словно гигантский оксюморон. Он как будто в одиночку представлял историю Франции после Великой французской революции. В 1885 году, когда он умер, за его гробом следовала толпа, превосходившая население Парижа. Некрологи оказались преждевременными: выяснилось, что при жизни Гюго издали лишь две трети его трудов. Через семнадцать лет после смерти Гюго собрание его сочинений сильно увеличилось в объеме. В него вошли семь романов, восемнадцать томов поэзии, двадцать одна пьеса, некоторое количество рисунков и эскизов, а также статьи по истории, критические очерки, путевые заметки и философские трактаты – примерно на три миллиона слов. В наши дни, когда опубликовали фрагменты «Океана» и зашифрованных дневников, создается впечатление, что Гюго даже поскромничал, выразив надежду, что все его произведения образуют «сложную книгу, которая подведет итог всему столетию»^[2].

В XX веке к прежним ипостасям Гюго добавилось несколько новых: предтеча сюрреализма, предсказавший обе мировых войны и создание Европейского союза; главный святой вьетнамской религии; генерал де Голль в области французского языка и литературы и кумир французских «левых»; популярный классик, чьи произведения многократно экранизировали, хотя экранизации и постановки часто в корне противоречат духу оригинала; признанный всеми партиями монарх Французской республики, которая в 1985 году пышно отметила столетие со дня его смерти большим количеством выставок, открыток и видеофильмов.

Такое «разрастание» Викторов Гюго имеет неожиданные последствия: каждый Гюго в отдельности превращается в своего рода «темную лошадку» или исчезает под сбивающим с толку парадоксом Жана Кокто: «Виктор Гюго был безумцем, который вообразил себя Виктором Гюго»^[3]. Вздорную толпу из его творчества не пригласили на годовщину собственной революции. Двенадцать лет спустя, в 1839 году, объемное издание «Семейной переписки» (*Correspondance Familiale*) было арестовано из-за банкротства издателя. Во Франции можно насчитать несколько миль бульваров Виктора Гюго, а количество его бюстов, барельефов и статуй сравнимо с населением небольшого городка, однако до сих пор не вышло настоящего полного собрания его сочинений и писем, снабженного научным аппаратом. В ссылке на Нормандских островах Гюго погрузился в собственные глубины и обрел широчайшую аудиторию. В Оксфордском словаре английского языка есть статья *Hugoesque* («гюгоистский», «свойственный Гюго»). К сожалению, она также способствует тому, что и в Великобритании творчество писателя заслоняется его личностью. В 1893 году термин *Hugoesque* считался синонимом описания Средневековья в романтическом духе. К 1960 году под ним подразумевалось нечто совершенно иное, а именно неослабевающая тяга к горничным^[4].

Своим происхождением эта книга в каком-то смысле обязана парому, двигатели которого по непонятным причинам заглохли посреди Ла-Манша. Несколько часов паром простоял в полной темноте и лишь с первыми лучами солнца двинулся дальше, в сторону Гернси. Очутившись в ловушке, я начал читать роман, который Джордж Сейнтсбери назвал «самой безумной книгой в признанной литературе»^[5]: «Человек, который смеется». Он был написан сравнительно недалеко от того места, где находился я, на верхнем этаже «Отвиль-Хаус», дома, который можно назвать самым безумным зданием в истории домашней архитектуры.

Через несколько месяцев, испытывая вполне понятное возбуждение, приступил к работе. Меня донимало собственное невежество и волновало то, что великолепные, изумительные вещи, вроде «Человека, который смеется», по-прежнему стараются убирать подальше на время официальных визитов. Так или иначе, если я затрагивал Францию XIX века, все всегда в той или иной степени сводилось к Гюго. Его имя неизбежно упоминалось в беседах и учебных пособиях практически на любые темы. Несколько его стихотворений, когда-то выученных наизусть, всплывают в памяти в минуты полного уединения. Сам же Гюго так и остался тайной. Я читал о романтическом сапоге, ворвавшемся в 1830 году в театр «Комеди Франсез», о руке, «конфисковавшей» французскую поэзию на протяжении почти всего столетия, о совести, следившей за Наполеоном III с Нормандских островов, и, что неизбежно, о символе другой, не творческой, плодovitости, который Гюго именовал «лирой»; однако я ни разу не представлял себе великана целиком.

Эта книга – попытка исследовать Виктора Гюго во всей его цельности посредством того, чему он уделил больше всего любви и мастерства: его жизни.

Первые биографии Гюго оказались тесно связаны между собой. В каком-то смысле их можно назвать плодом ссорящихся родителей. Я имею в виду приукрашенный рассказ о жизни Гюго до 1841 года, написанный его женой и отредактированный его учениками, который чаще всего цитируется во французской литературе, и три едких свидетельства Эдмона Бире, в которых прослеживается растущее разочарование (его труды увидели свет в 1883, 1891 и 1894 годах). Ярый католик и страстный почитатель Гюго в юности, Бире последовал совету своего епископа и отнесся к «Отверженным» как к сатанинскому творению. Его Гюго – чрезмерно раздувшийся воздушный шар, пустой внутри, который целых семьдесят лет приковывал к себе взгляды мирмидонян, осыпая их ложью и красивыми стихами. С одной стороны, Гюго был «героем человечности»; с другой – ханжа и предатель, который пробился к славе и богатству с помощью обмана и скупости.

Каждый из этих биографов писал, глядя на своего героя лишь одним глазом, и хотя с научной точки зрения следует предпочесть черную повязку на глазу Бире окрашенному в розовый цвет моноклю гюгофилов, обе стороны трудились, очертив вокруг себя некие границы, не дававшие им быть объективными и честными. Гюго так плотно вплетен в культуру Франции со всеми ее противоречиями, что труды, написанные его соотечественниками-литературоведами, часто скатывались в полемику. Примечательно, что наиболее справедливые ранние биографии были написаны Франком Маршалом («Жизнь Виктора Гюго», Лондон, 1888) и Дж. Принглом Николом («Эскиз его жизни и трудов», Лондон; Нью-Йорк, 1893).

Даже после того, как научный подход возобладал, биографов Гюго останавливал «внутренний цензор» в виде сорокапятитомного собрания сочинений, изданного в Государственной типографии Франции (1904–1952). Несмотря на роскошь, издание зияло лакунами. Собрание сочинений заканчивалось четырьмя томами тщательно отредактированной переписки. По слухам, редактором была одна из непризнанных дочерей Гюго. За собранием сочинений вставал образ идеального отца и мужа, неутомимого дедушки французской литературы, который позволял пяти поколениям более мелких поэтов буквально боготворить себя. Точно так же, «отравленная фимиамом» Жюльетта Друэ, бывшая любовницей Гюго на протяжении полу-

века, издала 20 тысяч любовных писем, которые после редактуры Поля Сушона превратились в тысячу и один нудный пример самоотверженной преданности. Из писем встает одномерный образ нудного и прилипчивого психопата. За таким «актом благочестия» на самом деле кроется бессознательное женоненавистничество редактора. В результате издание сильно исказило истинные сложные отношения Гюго и Жюльетты Друэ.

Новая эра в биографике Гюго началась в 1954 году, с достойного уважения «Олимпио» Андре Моруа, за которым последовала такая же благожелательная по духу книга «Виктор Гюго» Алена Деко (1984). В обеих подробнее раскрываются ранние годы, до бегства Гюго в Англию. Трехтомная биография «Виктор Гюго» Юбера Жена (1980–1986) стала повествовательной хронологией, придавшей последовательности «Хронологическому изданию» Жана Массена. Все три биографии сведены к рассмотрению отдельных составных частей гениальности Гюго, которая, похоже, принимает форму намеренного обмана. Многие биографы до сих пор подвержены, по словам Маколя, «болезни восхищения». Биографы Гюго к тому же очень боятся наговорить лишнего. Лучшие биографии Гюго, по сути, – вовсе не биографии, а труды, в которых анализ или простая текстологическая верность делают возможным отбросить наслоения легенд и мифов и увидеть, что под ними осталось. Отмечу «Время размышления» Жана Годона (*Le Temps de la Contemplation*, 1969), «Виктор Гюго и пророческий роман» Виктора Бромбера (*Victor Hugo and the Visionary Novel*, 1984), а также издательские исследования Пьера Альбуа, Жана Бертрана Баррера, Эвелин Блуэ, Жана и Шилы Годон, Пьера Жоржеля, Анри Гильмена, А.Р.У. Джеймса, Рене Журне, Бернара Люллио, Жана Массена, Ги Робера и Жака Зеебахера.

Последняя биография Виктора Гюго на английском языке (1976) заслуживает особого упоминания. Это образец политической пропаганды, пережившей породивший ее режим, – я имею в виду Вторую империю (1852–1870). Как писал сам Гюго о сходной исторической аномалии: «Это оживление трупа удивительно»^[6]. Вскормленная давным-давно разоблаченной ложью, она рисует портрет человека, пекущегося только о собственных интересах, страдающего манией величия, которого французы почему-то считают своим величайшим поэтом. Авторы часто просто пересказывают целые куски из других биографий – без указания источника. Пересказ сюжетов, также без ссылки на источник, приводится по старому Оксфордскому справочнику по французской литературе (1859). За каждым заимствованным абзацем следует суждение, сошедшее с пера самого биографа: «неуклюжий сюжет», «сюжет и персонажи... не выдерживают никакой критики», «давно уже невозможно читать» и т. п. Произведения, в том числе крупные, но не указанные в Оксфордском справочнике, в книге не упоминаются.

Необоснованное убеждение Гюго в том, что преступление само включает в себе наказание, в данном случае кажется не слишком оптимистичным. Можно предположить, что биограф-плагиатор никогда не имел удовольствия читать самые волнующие произведения романтической литературы. Вот что написано во введении: «Многих биографов пугала задача описать жизнь такую полную, такую сложную, так тщательно задокументированную. Ни один английский писатель до настоящего времени не пробовал создать критическую биографию». Последнее замечание необычайно верно.

Вначале книга, которую вы держите в руках, была для ее автора лишь предлогом, позволившем ему провести четыре года за чтением трудов Виктора Гюго. Вы найдете в ней новые письма, стихи, забавные истории, факты и источники. Одни тайны удалось разгадать, другие – создать. Обнаружены неизвестные издания и публикации. Так, ранее не публиковались сведения о «самом несносном»^[7] из ссыльных французов, каким он казался недреманному оку сотрудников Скотленд-Ярда и министерства внутренних дел Великобритании. Многие цитаты из трудов и писем Гюго прежде никогда не публиковались в переводе на другие языки – что, впрочем, по мнению Гюго, вовсе не служит признаком прогресса: «Как можно определить, умен ли народ? По его способности говорить по-французски»^[8].

Стихи во многих случаях переведены подстрочно; они передают дух оригинала примерно так же, как пересказ передает дух музыкального произведения. Пояснения и примечания, связанные с биографикой Гюго, а не с историей его жизни, или примечания, допускающие разные толкования, убраны на архивный «чердак», куда можно попасть по тайным лесенкам, отмеченным знаками сносок.

Несколько примечаний-анахронизмов, например те, где речь идет о компьютерах и т. п., призваны скорее высветить, чем опошлить, следующее предположение: мозг Гюго – не исключительное достояние XIX века. Подобные сноски служат напоминанием, что прошлое – не тематический парк развлечений и не убежище от настоящего.

Из всех биографий Гюго, вышедших на многих языках, эта первая снабжена подробным справочным аппаратом. Она предлагает открытый доступ к творчеству писателя, которого когда-то называли «природной стихией». Данные из других биографий я привожу лишь в тех случаях, если их авторы предлагают интересные находки или если они служат примером особого отношения. Поскольку каждый день о Викторе Гюго во всем мире пишут около трех тысяч слов, пройдет не одна жизнь, прежде чем кто-либо сможет сказать, что прочел все, когда-либо написанное о нем. Так или иначе, исчерпывающая, «окончательная» биография Гюго – миф. В настоящее время наиболее полно можно описать разве что жизнь растения или червя (если, конечно, не придерживаться точки зрения самого Гюго, считавшего, что даже у камней есть душа). Проверить ценность той или иной биографии можно по тому, насколько охотно ее автор что-то выбрасывает и выбирает. Я старался открывать залежи информации, избегая отвалы шлака.

Разумеется, биографы известных писателей, которые верят в свою оригинальность, пребывают в счастливом неведении. Принято писать о «долге» автора перед редакторами и критиками. В большинстве случаев уместнее говорить о «подарке». Главными опорами настоящей биографии стали грандиозное издание Жана Массена и более современное Полное собрание сочинений, которое со временем становится все полнее. Без трудов нескольких поколений редакторов было бы невозможно выжить в подземном лабиринте трудов Гюго, распознавать неизвестные объекты и наблюдать за процессами, а затем вновь подняться на поверхность – причем в относительно приличном состоянии.

Благодарю за разъяснения Жана Поля Ависа, Алена Брюне, Роберта Элвуда, Жана и Шилу Годон, Чарлза Хембрика, Даниэлла Молиари, Джеффри Нита, Джеймса Патти, Клода Пишуа, Стивена Робертса и Адриана Таурдэна, а также следующие учреждения: библиотеку Тейлоровского института, Бодлианскую библиотеку, Национальную библиотеку Франции, Историческую библиотеку Парижа, Национальный архив в Кью, Дом-музей Виктора Гюго (площадь Вогезов), Дом-музей Виктора Гюго в ссылке («Отвиль-Хаус»), Архивную службу Джерси, Музей Джерси (Кэтрин Берк), ратушу прихода Сейнт-Сейвьер на Джерси (М.Р.П. Малле), Национальный музей армии, Королевское литературное общество, Музей мадам Тюссо (Ундина Конканнон), Муниципальный архив Страсбурга (Ж.-Ю. Мариотт), Университетскую библиотеку Осло (Стейнар Нильсен), Библиотеку семейной истории Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Благодарю за разностороннюю помощь Джил Кольридж. Спасибо Старлинг Лоренс и Тане Стоббс за редакторский такт и доброту. Я очень благодарен Хелен Доре. Спасибо Питеру Стросу за поддержку.

Счастлив признаться, что каждая страница настоящей биографии в неоплатном долгу перед Маргарет.

Грэм Робб

*139 Hollow Way
Oxford OX4 2NE*

Часть первая

Глава 1. Сабля в ночи (1802–1803)

По словам его отца, Виктора Мари Гюго зачали «почти в небесах», точнее, «на одной из высочайших вершин Вогезов»^[9].

Возникают сомнения относительно того, чем еще могли заниматься майор Гюго с женой в мае 1801 года. С высоты примерно километр над уровнем моря они любовались Рейнской областью, только что присоединенной к наполеоновской Франции. Горы кишели бандитами и контрабандистами – точнее, кишели до тех пор, пока, за несколько недель до того дня, туда не прибыл майор Гюго во главе особого батальона. Возможно, он для того и вернулся, чтобы его жена могла наслаждаться красивыми видами и слушать его рассказы о военной кампании. А может быть, в 1821 году, вскоре после смерти супруги, он описывал давние события, потакая «возвышенной музе» Виктора, которую, впрочем, считал недостойной заменой военной или гражданской службе.

Если подняться на гору Донон, можно увидеть точное место зачатия Гюго. Оно отмечено глыбой песчаника на участке 99 Дононского леса, почти под самой вершиной, рядом с развалинами кельтского храма:

«НА ЭТОМ МЕСТЕ
5 ФЛОРЕАЛЯ 9 ГОДА
БЫЛ ЗАЧАТ
ВИКТОР ГЮГО».

Поразительный результат дедукции стал замыслом бывшего главы музеев Страсбурга Ханса Хауга, который воздвиг этот памятник, призванный положить конец всяким домыслам, в середине 60-х годов XX века в виде шутки. Сам Гюго предпочитал другое место. Пересказывая то, что слышал от отца, он обычно заменял кельтский храм римским «Храмом любви», Вогезы – Альпами, а Донон – Монбланом, обладавшим тем преимуществом, что он на тысячу метров выше, известен во всем мире и находится на пересечении Франции, Швейцарии и Италии^[10]. Что еще важнее, его точка зрения призвана была подчеркнуть, что Виктор Гюго зародился на пересечении главных путей мировой истории: еще до того, как он научился ходить, он, так сказать, следовал по стопам Ганнибала и Наполеона. При таком нескромном происхождении требовалось огромное количество честолюбия, призванного доказать, что вся его последующая жизнь не стала спадом.

Родители Виктора Гюго познакомились за четыре года до знаменательного события при драматических обстоятельствах.

Софи Требюше была бретонкой; она родилась в Нанте в 1772 году и была третьей из семи детей в семье. Ее мать умерла, когда Софи было восемь лет. Ее отец был моряком. Он ходил в Вест-Индию, куда возил рабов из Западной Африки, а в Нант возвращался с сахаром и черной патокой. В 1783 году, во время неудачного рейса на Маврикий, он заболел и умер в пяти тысячах миль от родины. Останки деда Гюго покоятся где-то на дне Индийского океана. Мать Гюго всегда скрывала свое прошлое или изменяла его в соответствии со злободневными требованиями. Виктор Гюго думал, что его дед был «почтенным буржуа, который не менял ни родины, ни взглядов»^[11].

Лишившись обоих родителей, Софи переехала к своей тетке Франсуазе в Нант. Там ее в 1789 году застала Великая французская революция.

По словам Гюго, по чьим произведениям традиционно и представляют себе следующие события, его мать была полудикой амазонкой-роялисткой, которую в бретонских лесах преследовали солдаты-республиканцы. Рискую жизнью, она спасала гонимых священников. Сама Бретань, по мнению парижанина Гюго, представляла собой допотопное захолустье. Тамошние заросшие, сплошь покрытые татуировками крестьяне жили в лачугах или землянках и питались в основном молоком и каштанами. Они были фанатично преданы королю и церкви, их мировоззрение, ограниченное горизонтами древних лесов, в которых они прятались, изобиловало друидическими суевериями и бессмысленной злобой – в личной мифологии Гюго они представляют полную противоположность гению, рожденному на горе. Посетив Бретань в 1836 году, он писал, что по грязи ей равен лишь «умывальный таз» Атлантического океана^[12].

Когда Софи Требюше была молодой женщиной и солдаты-республиканцы затаптывали контрреволюционные восстания бретонцев-монархистов, леса, в которых, как представлял Гюго, бегала его мать, «напоминали огромные, недоступные человеческому глазу губки, из которых под тяжелой пятой гиганта, под пятой революции, вырывался фонтан гражданской войны»^[13]. Метафора явно навеяна промокшими носками и ботинками, а также неясностью собственного прошлого.

Одним из представителей «тяжелой пяты» был отец Гюго, Жозеф Леопольд Сигисберт Гюго, которого обычно называли Леопольдом. Он родился в Нанси, на востоке Франции, был третьим сыном лесоторговца и гувернантки^[14]. Для военного Леопольд Гюго получил необычно хорошее образование, но пожертвовал учебой ради армейской службы. Корпению за письменным столом он предпочитал дух товарищества и приключений. Когда он познакомился с Софи Требюше, ему было двадцать два года; невысокий, но чрезвычайно широкий в груди, румяный, толстоносый, он быстро переходил от глубокого уныния к безудержной радости. Он обожал хвастать собственными подвигами, например рассказывать о том дне, когда его ранили в шею и в бою под ним разорвало на куски двух лошадей. Леопольд Гюго не стыдился своего плебейского происхождения, но очень хотел обзавестись предками-аристократами. Он обожал своего командира Мюскара и, как Мюскар, писал непристойные песни и возил с собой в походы свою любовницу. «Я часто прижимаю ее к сердцу, – писал он Мюскару, – и чувствую сквозь два прелестных полушария, как нарастает волнение, воодушевляющее мир!.. Задернем занавес...»^[15]

Революция подхлестнула его тщеславие: он присвоил себе имя «Брут» и оказался пылким республиканцем. Брут Гюго без явного наслаждения «очищал» Бретань, но и от исполнения своего долга не увиливал. Под его руководством стирали с лица земли деревни, казнили мятежников целыми приходами. Подобно многим военным, оказавшимся в таких же обстоятельствах, он усыновил брошенного ребенка. Когда у него родились собственные дети, сироту отдали.

В 1793 году, вскоре после казни Людовика XVI, 8-й Нижний Рейнский полк Гюго отозвали из самой отдаленной части Франции. Власть хотела устранить противоречия, вызванные мировоззрением, – такие противоречия часто доставляют большое беспокойство во время гражданской войны. Благодаря такому мудрому распоряжению ресурсами у Виктора Гюго появились отец, республиканец и атеист, и мать, роялистка и католичка. Их союз сделало возможным столкновение самых мощных противоборствующих сил того времени^[16].

Предыстория Гюго отчасти вернулась в местные легенды и предания. По словам Гюго, его родители познакомились зимой 1795 года, когда образец республиканских добродетелей рыскал по тропам и чащам в окрестностях городка Шатобриан, в нескольких милях от Нанта. В Шатобриане находился загородный дом Франсуазы, тетки Софи; считалось, что там жить безопаснее, чем в городе. Скача между живыми изгородями, Брут вдруг набрел на хрупкую темноглазую девушку. Узнав, что бравый военный ищет священников-ренегатов, она очень мудро пригласила его домой к чаю.

Брут, еще дымясь после битвы, хвастал, что разбил ногу, показывал семнадцать дыр от пуль на мундире и цитировал собственные стихи. Судя по всему, Софи произвела на него более сильное впечатление, чем он на нее: она была сдержанной, даже скрытной, гордилась своим хладнокровием. «Мать, которая позаботилась о том миге в жизни, когда оказываешься в одиночестве, – писал Гюго в 1822 году, – и которая с детства приучала меня все держать в себе и ничего не выдавать»^[17]. Кроме того, Софи Требюше была на полтора года старше Брута и получила лучшее образование. Она была полной противоположностью его закаленной в битвах любовнице и вселяла куда больше страха, чем целый отряд бретонских крестьян, вооруженных вилами и топорами.

Полгода спустя, когда Брута перевели в Париж, он обещал ей писать. Софи ничего не обещала, но задумалась о том, что ей скоро исполнится двадцать пять лет и она будет считаться слишком старой для замужества. Возможно, для того, чтобы произвести на нее впечатление и доказать, что он способен содержать семью, Брут получил место в военном совете в Париже и постарался проявить терпение. Наконец в ноябре 1797 года Софи приехала из Бретани вместе с братом. Вскоре оказалось, что пылкий Брут ей изменяет, как он сам охотно признавался в письме к своему командиру. Однако Софи не вернулась с позором в родной городок, а вышла за него замуж, без священника, 15 ноября 1797 года. Поговаривали о приданом, но, к разочарованию Брута, оказалось, что оно состоит в основном из постельного белья.

Виктор Гюго, достаточно хорошо знавший своих родителей, живо представлял себе начало их отношений. В их семейной жизни царил то же опустошение, свидетелем которому он был в разных частях наполеоновской империи. Но реальность отличается от ее реконструкции в одном важнейшем отношении. Родственники Софи, далеко не роялисты, подобно многим своим соседям, жителям Нанта, вносили активный вклад в становление республики^[18]. Они гордились своими современными взглядами; их скорее можно было застать за чтением Вольтера, чем Библии. Дед Софи работал с печально знаменитым Карье, который во времена Террора грузил заключенных на лодки и топил их в Луаре. Луиза, младшая тетка Софи и одна из ее ближайших подруг, была любовницей Карье. Когда Софи и ее тетка Франсуаза в 1794 году уехали из Нанта в Шатобриан, они бежали не от республиканских войск, а от соотечественников-бретонцев – тех, кого приводили в ужас зверства Карье, – а также от тех, чьи разлагающиеся трупы распространяли болезни; тела казненных сваливали в кучи в открытых могилах. Дед Софи, прокурор Нанта, был причастен к происходившему.

Во времена детства Гюго события недавнего прошлого упрощали; в соответствии с принятыми тогда взглядами население целых городов и провинций делилось на патриотов и коллаборационистов. Пробелы в семейной истории Гюго отчасти связаны с молчанием матери и любовью отца к приукрашиванию; рассказывая, отец всегда выставлял себя героем. Более того, после того, как семейная жизнь родителей Гюго разладилась, они воздвигли между собой границы. С самого начала Гюго вполне терпимо относился к тому, что его мать была роялисткой, а отец – республиканцем; подразумевалось, что в несовместимости родителей виноваты исторические процессы, а не сам Гюго.

На рубеже веков, во времена Директории, город, который Виктор Гюго назовет своей «духовной родиной»^[19], был полуразрушенным музеем недавней французской истории. Его дворцы кишели нищими и мусором. Он больше напоминал послереволюционный Занзибар, чем современный Париж. Сады Тюильри перекопали и посадили в них картошку; статуи повалили, изуродовали надписями. Служащие военного совета заняли ратушу Отель-де-Виль (переименовав ее в «Дом коммуны»), где нетронутыми оставили только бюсты вождей революции.

В пятой части «Отверженных» Гюго рисует наиболее запомнившуюся ему картину того времени. Что примечательно, он датирует ее годом своего рождения – 1802-м^[20]. Именно тогда

«совесть города», огромная клоака, затопила Париж. Типично гюгоистский взгляд на историю – соглашательский, непостижимый и страшный: «...во мраке, среди мерзких отбросов прежнего великолепия, бродит огромный слепой крот – прошедшее». Такое прошлое, как у Гюго, было необычайно трудно вмещать в себя и анализировать. Зато оно рождало сильное подозрение: те, кто вовлек его детство в важные исторические события, были ограничены еще более великими силами.

Популярным местом прогулок в Париже времен Директории был сад д'Идали возле Елисейских Полей. Незадолго до государственного переворота, совершенного Наполеоном Бонапартом, на развалинах прошлого расцвело свободное предпринимательство. В саду д'Идали устраивали порнографические представления на свежем воздухе: ставили «живые картины», над головами резвились одетые сильфидами девицы, привязанные к воздушным шарам. Майор Гюго водил туда жену и как-то раз случайно встретил старого знакомого, полковника Виктора де Лагори, начальника штаба генерала Моро, бывшего в то время главным соперником Наполеона.

О Лагори известно очень мало, если не считать того, что позже он принял участие в заговоре Моро против Бонапарта, а также роли, какую он сыграл в детстве Виктора Гюго. Даже его биографы путаются в том, как его звали^[21]. Он был на шесть лет старше Софи и родом из тех же мест, что и она. Пылкий республиканец, но с манерами роялиста, он составлял приятный контраст Бруту Гюго: носил синий костюм и бриджи, белые перчатки и черную треуголку с крошечной кокардой – первый росток более изящного века. Согласно приметам, разосланным министром полиции в 1804 году, гражданам следовало сообщить властям о мужчине ростом 5 футов 2 дюйма, с черными волосами, карими, глубоко посаженными глазами, с изрытым оспой лицом и с язвительной улыбкой. Кроме того, говорили, что он слегка кривоног, как человек прошедший много лет в седле^[22].

При поддержке Лагори Гюго вернулся в строй. В 1799 году они с женой переехали в почти сельский район к западу от Парижа – там располагалась военная школа. В комнате, выходящей на Марсово поле (теперь с другой стороны над ним возвышается Эйфелева башня), ровно год спустя после свадьбы родился их первенец Абель. Софи Гюго нянчила его под грохот барабанов и военные марши.

В июне они уехали на родину Гюго, в Нанси. Как пишет Стендаль в незаконченном романе «Люсьен Левен», Нанси превратили в казармы; по улицам города постоянно маршировали полки, отбывающие на Восточный фронт. Майора Гюго послали завоевывать Баварию. Во время той кампании, благодаря своим «храбрости, активности и уму»^[23], он заслужил покровительство Жозефа, старшего брата Наполеона Бонапарта, – вот первое проявление длинной цепочки совпадений, которая периодически сплетает историю семьи Гюго с историей семьи Бонапарт. Софи осталась в Нанси с жеманной свекровью и ревливой золовкой. Единственной отрадой для нее стал хорошо воспитанный Лагори. Ходили слухи, что они стали любовниками, но то гда обстоятельства едва ли благоприятствовали им. В Нанси 16 сентября 1800 года у Софи родился второй сын, Эжен.

Почти сразу же Гюго назначили командиром близлежащего гарнизона в Люневиле, где в феврале 1801 года был подписан договор, объединивший бонапартистскую Францию. Начинались великие дни. По словам песни, которую майор Гюго часто мурлыкал дома – его сын точно вспомнил ее полвека спустя, – будущий император предъявил суровый ультиматум европейским правителям: «Поцелуйте меня в зад, и вы получите мир... И получился мир!»^[24] Госпожа Гюго не считала, что общество мужа полезно для детей^[25].

На время пребывания в Люневиле выпало еще одно важное событие: поездка в Вогезы, во время которой майор Гюго предъявил свои супружеские права на вершине горы.

В августе 1801 года его во главе 20-й полубригады перевели в город Безансон. Семье Гюго отвели квартиру во втором этаже в старом доме на площади Сен-Квентин. Там, как-

то вечером, ближе к концу зимы, родился их третий сын. На первый взгляд хуже времени не придумаешь. И вот на седьмой день декады (септиди) месяца вантоз десятого года Республики (по-старому, 26 февраля 1802 года) там произошло важное событие:

Исполнилось веку два года. Рим сменял Спарту;
Наполеон высился над Бонапартом,
И маску суровую первого консула
Уже пробивал лоб Императора.
Тогда в Безансоне, старом испанском городке,
Порывом ветра бросило семечко,
Родился ребенок смешанной крови – бретонской и лотарингской

—
Бледный, слепой и немой...
Тот ребенок, которого Жизнь выцарапала из своей книги
И которому не суждено было прожить и дня,
Был я^[26].

Майор Гюго ждал девочку. Он собирался назвать ее Викториной-Мари – Мари в честь подруги семьи, а Викториной в честь Виктора Лагори, который согласился стать крестным отцом. Поскольку Мари могло быть и мужским именем, ребенка называли Виктор Мари Гюго. Обряда крещения не проводили^[27] – еще один признак того, что мать Гюго вовсе не была такой ревностной католичкой, какой он ее считал.

Роды были трудными, и ребенок родился слабым. По словам матери, он был «не больше ножа»^[28]. Возможно, он родился недоношенным. Акушерка предсказывала ему скорую смерть; прошла целая неделя, прежде чем майор сообщил о рождении мальчика Лагори.

Если верить первому стихотворению сборника «Осенние листья» (*Les Feuilles d'Automne*), одной из величайших автобиографий в стихах периода романтизма, плотнику сделали двойной заказ: на колыбель и на гроб. Крепкий полуторагодовалый брат Гюго Эжен, унаследовавший отцовское здоровье, увидел слабого малыша и высказал первое субъективное мнение о будущем поэте: «bêbête» («глупенький»)^[29].

Через шесть недель семье предстояло распасться.

С романтической точки зрения происхождение Гюго выглядело неутешительным, нечистым. Еще при его жизни один критик пытался доказать, что Гюго с молоком матери всосал упрямый дух Франш-Конте и стал типичным представителем своего края, порождением востока Франции^[30]. Однако место его рождения примечательно лишь почти полным отсутствием какого-либо значения. Гюго родился в семье военного, которую захватила рожденная Бонапартом буря^[31]. В Безансоне он больше никогда не бывал. Следующий «сеанс связи» с родиной состоялся лишь в 1880 году, когда местный совет открывал памятную табличку, увековечившую его рождение. По такому случаю Гюго послал благодарственное письмо, в котором назвал себя «камешком на дороге, по которой человечество идет вперед»^[32]. Хотя он всю жизнь тяготел к символическим совпадениям, в отличие от некоторых своих капризных биографов, Гюго смирился с необычными обстоятельствами своего рождения и видел причудливую личную географию признаком внутривоспитанного интернационализма. Его мать была из Бретани, отец – из Лотарингии (попеременно переходившей то к Германии, то к Франции), а город, в котором он родился, когда-то принадлежал Испании. Таким образом, он по сути своей олицетворял тот союз, который он одним из первых назвал «Соединенными Штатами Европы»^[33].

Самые большие искажения Гюго поберег для своей семьи. Здесь погоня за автобиографической точностью отклоняется в чистую фантазию, постепенно, с годами, отвердевая и

подтверждаясь слоями вымышленных воспоминаний. Но принять версию Гюго ради удобства рассказчика, а затем разоблачить ее как комическое преувеличение – значит игнорировать неприятную реальность, которую он почти всю жизнь старался осмыслить или изгнать.

Позже он считал, что его (символически) крестил Лагори, «который был свидетелем моего рождения». Возможно, Лагори в самом деле, как утверждает Гюго, предложил смягчить германское «Гюго» латинским «Виктор»^[34]. Но, когда ребенок родился, Лагори был в Париже.

Слабость младенца Гюго также относится одновременно к области мифов и к реальности. В 1852 году, когда Гюго диктовал подробности первых лет своей жизни Александру Дюма, он признавался, что в полтора года еще не держал голову: она все время заваливалась на плечо^[35]. Такая деталь выдает склонность к мифологизации. Возможно, он и был недоношенным, но голова у него была огромной – он больше всего гордился такой своей отличительной особенностью. Где-то рядом – гордость мощностью своих сексуальных желаний и свершений. Он даже уверял, будто один психиатр поставил ему диагноз излеченной гидроцефалии^[36]. Неоднократное упоминание о своей слабости в текстах, которые во всех остальных отношениях нельзя назвать образцами скромности, бросает двусмысленный свет на его неполноценность по сравнению с двумя старшими братьями. В одном смысле он был практически Квазимодо. С другой стороны, слабое тело, которое с трудом поддерживало гениальную голову, означало, что Гюго родился с идеальным телосложением для романтика.

Если рассматривать его внешность в свете пылкого соперничества с братьями, слабость Гюго выливалась в еще одно неожиданное преимущество. В первом стихотворении сборника «Осенние листья» он дает довольно противоречивое объяснение, согласно которому материнское молоко, по божественной воле, делится между детьми поровну, но каждый сын получает все: идеальное, чудесное решение для братского соперничества. Больному и слабому ребенку уделяется больше забот, что «сделало меня дважды ребенком моей упрямой матери».

В автобиографических произведениях суровые обстоятельства первых дней Гюго несколько затушеваны: «Брошенный всеми, кроме матери», ребенок любовью возрождается к жизни. Затем вся семья уезжает на Корсику, где «младенец быстро достиг годовалого возраста»^[37].

Такое переосмысление своих истоков интересно своей полной неправдой. Несмотря на тревогу о слабом здоровье Виктора и боязнь, что он не выживет, семья отбыла в Марсель, когда ему было всего шесть недель от роду. У майора Гюго начались крупные неприятности: его оклеветали перед командованием, обвинив в растрате. Спасти его могло только одно: обращение к парижским покровителям, Лагори и Жозефу Бонапарту.

Итак, 28 ноября 1802 года Софи Гюго оставила младенца на некую Клодину, жену ординарца Гюго, а сама поехала в Париж. Майор Гюго положился на ее убедительность и продолжал служить. Софи Гюго поселилась на улице Нев-де-Пти-Шан, недалеко от Вандомской площади и совсем рядом с улицей Гайон, где жил недавно вышедший в отставку Лагори.

Пожалуй, самым важным событием раннего детства Виктора Гюго было то, что его рождение совпало с крахом семейной жизни родителей.

Из-за того, что сам Гюго упорно молчал о родительских неладах, все биографы делали упор на его последующем примирении с отцом, случившемся после смерти матери. Возможно, стремление видеть во всем хорошее как-то связано с личной жизнью его биографов, а может быть, стало следствием влияния традиционного жанра биографии, где вычеркиваются те или иные события по мере их наступления. С другой стороны, Гюго, обладавший поразительной способностью никогда не избавляться от горя, жил скорее не по прямой, а по спирали, по кругу, и катастрофы его жизни следует представлять как постоянно повторяющиеся события, которые отличаются лишь степенью силы.

Когда дремлющая душа снисходит в тело
И проживает в сердце, которого наконец коснулся холод,
Словно считая трупы на поле битвы,
Каждое отлетевшее горе и прерванную мечту...
Там, в ночи, где нет никакого света,
Душа в полном мраке, где будто наступает конец,
Все же чувствует, как что-то трепещет под вуалью...
Тебя, что спит в тени, – священное воспоминание!^[38]

Так как при виде постоянно ссорящейся супружеской пары посторонних так и тянет предложить свою помощь, Софи называли излишне сухой, холодной и даже упрямой, как ослица. Последнее качество ее муж приписывал ее бретонскому происхождению^[39]. Не следует забывать, что ее холодность и очевидное отсутствие чувства юмора резко контрастировали с постоянно фонтанирующим майором. «Жаль, что я не могу разбить узы языка, – писал он в 1800 году, – и полнее описать свои чувства, обожествить женщину, которую я обожаю, держать ее в своих объятиях и прижимать к груди мать моих малышей»^[40].

Служит ли такой пылкий стиль доказательством искренности, как часто предполагают? Письма майора, помимо всего прочего, демонстрируют его знакомство с популярной литературой того времени, изобиловавшей преувеличениями и страстными изъятиями чувств. Это ему пришлось, когда он написал свой первый приключенческий роман.

Малышей, страдавших от того же «лишения», что и их отец, закармливали сладостями. Виктор постоянно просил «мамумаму»^[41], а ему приходилось довольствоваться миндальным печеньем.

В январе 1803 года майор снялся с лагеря и отплыл с тремя сыновьями на Корсику, где французская армия готовилась обороняться против чумы и англичан. Софи, похоже, не спешила ни просить за майора, ни даже отвечать на его письма. Впервые в жизни она была свободна и наслаждалась обществом Лагори.

Тем временем условия жизни остальных членов семьи стремительно ухудшались. С Корсики они в июне 1803 года отплыли в Портоферрайо, на крошечный островок Эльба, за одиннадцать лет до того, как свергнутый Наполеон пытался втащить остров в XIX век, построив там нормальные дороги. Их дом стоял на улице, которая теперь называется улицей Гверраци^[42]. Няня водила мальчиков играть к морю. Зимой почта не приходила. Майор чувствовал себя брошенным. Он охотно признавался в том, что из него хорошей матери не вышло. У Виктора резались зубки, он страдал от жары; судя по всему, его изводили глисты. Он редко плакал, но озирался по сторонам с таким видом, как будто что-то потерял. На Корсике ему нашли няню – местную жительницу, которая возила его гулять в коляске, но ребенку было с ней неудобно, так как она не говорила по-французски. Позже Гюго утверждал, что одним из первых выучил итальянское слово cattiva^[43], то есть «злая». Возможно, правы те, кто позже уверял, будто в отцовском доме не все шло гладко.

Несмотря на все псевдорелигиозные излияния майора, в основе всех его писем – отчаянная жажда секса. Видимо, он считал, что честно предупредил обо всем Софи. Он намекал на то, что хранит ей верность из последних сил: «Думаешь, в моем возрасте и с моим характером хорошо бросать меня одного?» Для успокоения жены он писал, что местные женщины имеют обыкновение закалывать любовников кинжалами, не говоря уже о добавочной «гарантии» в виде возможных «болезней».

Было ясно, что их брак окончен. Напоминая об огромности своих аппетитов, майор, большой специалист по самооправданию, заранее выписывал себе индульгенцию. Впрочем, его заблуждения были искренними. Жена его обладала необычным даром: она не признавала его достоинств. «Благодаря своему характеру я не умею наживать врагов, зато у меня много

друзей, – писал он на следующий год. – Я видел, как тебе все хуже рядом со мной; ты вынуждена жить отдельно по ряду причин, ты бросила меня, предоставив пылким страстям моего возраста»^[44].

Наконец, заручившись поддержкой в лице Лагори, Софи выехала из Парижа. После долгого путешествия она прибыла на Эльбу в июле 1803 года. Через четыре месяца, взяв детей, она вернулась в Париж.

Единственным окошком, в которое можно заглянуть, чтобы понять те катастрофические четыре месяца, служит прошение о разводе, написанное Софи в 1815 году^[45]. По словам Софи Гюго, ее муж завел себе «наложницу» по имени Катрин Тома, дочь госпитального служащего из Портоферрайо. Эта женщина называла себя графиней де Салькано, будущей второй женой майора Гюго. Возможно, она послужила прототипом для образа солдата-трансвестита из «Тирольской авантюристки», мелодраматического романа, который Гюго-старший написал, выйдя в отставку. Невозмутимая, бездетная, Катрин Тома была к тому же на одиннадцать лет моложе Софи. Ничего не подозревавшую Софи убедили уехать во Францию с тремя сыновьями до того, как явятся англичане и всех их возьмут в плен. Ее мужу после ее отъезда никто уже не мешал потакать тому, что Софи в прошении о разводе называет «его необузданными желаниями».

Судя по последующему письму майора, он пытался последний раз пробудить в жене хоть какую-то страсть. Он скучал по сыновьям и, возможно, соединился с Катрин Тома не сразу. Простение Софи о разводе написано уже в то время, когда она сочинила легенду об амазонке-роялистке, скованной вандалом-республиканцем. Как и следовало ожидать, сыновья сочли легенду правдой.

Наверняка известно одно: когда Виктор Гюго приехал в Париж в возрасте года и девяти месяцев, его родители начали долгий и болезненный процесс развода. Распри продолжались на протяжении всего его детства; из-за них он долго путешествовал по наполеоновской империи.

Гюго никогда не притворялся, будто помнит что-нибудь из того периода. В чудесном видении, которое он приписывает матерям детей, рожденных на рубеже веков, и затем, гораздо позже, его второму «я», Мариусу из «Отверженных», республика была «гильотиной, встающей из полутьмы. Империя – саблей в ночи»^[46]. Подобно многим писателям своего поколения, Гюго жил под впечатлением, что он вошел в мир в мифологическую эпоху – дитя гиганта, завернутое в знамя, уложенное на барабан и крещенное водой из шлема^[47].

Если, как он уверяет, его ранние годы прошли в тумане культурных предрассудков и двадцати лет политических и семейных распрей, из-за ошибки родителей туман получился необычайно густым и символичным. Постепенно поразительно сходное положение материализуется в будущем у самого Гюго, как будто взрослые, стоявшие вокруг его колыбели – или вокруг гроба, – написали роли, сыграть которые предстояло другим актерам.

«Священная память», которая переживает все остальное и предшествует другим воспоминаниям, – не что иное, как бессознательные детские размышления и постепенное осознание правды. Повторное обретение той правды составляет одну из основ жизни Гюго. История оказалась куда драматичнее, чем многословные рассуждения о том, что Виктор Гюго стал ведущей фигурой французского романтизма, так как страдал манией величия и свято верил в подлинность созданного им образа. Последнее было бы для него делом сравнительно простым. Зато поиск средств выражения для неприемлемых литературных истин, скованных условностями, стал поступком, на который не жаль было тратить время и силы. Поступком, достойным сына великана, зачатого на вершине горы.

Глава 2. Тайны (1804–1810)

Самые ранние воспоминания Гюго связаны с его первым парижским домом – домом номер 24 по улице Клиши, напротив парка Тиволи. При доме имелись двор с колодцем и ива, полоскавшая свои ветви в корыте. Пока Абель был в школе, Виктора и Эжена отправляли в детский сад на улице Монблан (теперь Шоссе-д’Антен).

Если верить «Рассказу о Викторе Гюго»¹, пребывание Гюго в его первом образовательном учреждении оказалось на удивление пророческим. Каждое утро горничная приводила Виктора в спальню дочери директора школы, мадемуазель Розы. Если бы Роза дожила до публикации книги, она бы узнала, что, пока она натягивала чулки, малыш Гюго любовался ее голыми ногами.

Дочь директора школы также стала жертвой еще одного, более яркого проявления детской сексуальности. Как и у рассказчика из прустовской эпопеи «В поисках утраченного времени», самый глубокий колодец памяти Гюго содержит легенду о Женевьеве Брабантской, графине, которую ложно обвинили в нарушении супружеской верности. Она нашла убежище в лесу с крошечным сыном... В старинной легенде Гюго видел трансформацию истории своей матери: беженка, мученица, брошенная жена, которая всю любовь перенесла на ребенка. Герой Пруста узнает о Женевьеве Брабантской из своего волшебного фонаря. Гюго, рожденный в век героев, предпочитал более тесный контакт. В школе ставили спектакль о Женевьеве Брабантской. Роль Женевьевы исполняла Роза. Виктор был ее сыном, одетым в овечью шкуру. Пока мадемуазель Роза произносила свои реплики, он царапал ей ноги железным когтем, который входил в его костюм.

Хотя такие воспоминания вполне правдоподобны, не по годам ранний интерес к женскому телу часто присутствует в романтической биографии^[48]. Такие воспоминания сродни тому, что Виктор и Эжен во время поездки в Италию ели жареную ножку орла – им перской птицы^[49]. Все это лишний раз свидетельствует о том, что даже воспоминания подвержены переменчивой моде. В защиту таких ранних впечатлений следует сказать, что Гюго обладал поразительной, почти фотографической памятью: однажды он правильно сосчитал в уме количество пуговиц на мундире отца^[50]. Пожалуй, еще примечательнее то, что, дожив до старости, он ни разу дважды не рассказывал одной и той же истории одному и тому же человеку^[51]. Но, даже если его воспоминания тщательно отобраны и приглажены, их не следует считать ложью и потому отбрасывать: возможно, вначале их выбрали бессознательно.

Мальчик в овечьей шкуре, который колет вымышленную соперницу матери символом члена, – необычно острое выражение подсознательного желания. Возможно, здесь прослеживается также бессознательная отсылка к выражению *mouton à cinq pattes* («овца с пятью ногами»), означающее некое явление или чудовище^[52]. Мания величия, которая стала отличительной чертой воспоминаний Гюго о себе, конечно, прослеживается; однако его рассказы свидетельствуют и о том, что его стремление придать своей жизни свойства мифа влекут за собой и отрицание мифа (о невинности и чистоте ребенка).

¹ «Рассказ о Викторе Гюго» (Victor Hugo Raconté Par un Témoin de sa Vie) – «официальная» биография, написанная его женой и основанная на разговорах с мужем и собственных воспоминаниях. «Рассказ...» заканчивается вступлением Гюго во Французскую академию в 1841 г. Книга была опубликована в 1863 г. и составила основу – иногда буквальную – первых глав почти всех биографий Виктора Гюго. Однако опубликованная версия разительно отличается от черновых вариантов: сын Гюго Шарль и его ученик Вакери переписали ее в «литературном» стиле, исключив все, по их мнению, «неудобные» подробности и отступления, убрали все упоминания о чувстве юмора Гюго и в целом «причесали» книгу, чтобы она соответствовала мифу о Гюго. Обе версии по-своему красноречивы. Автор отдает предпочтение оригинальным черновикам, последний из которых сопровождается примечанием, сделанным рукой Гюго. Судя по всему, Гюго был больше заинтересован в сохранении истины, чем считают его биографы: «Рукописи моей жены, которые собирались сжечь и которые я вытащил из огня. 8 марта 1867 г.». (Здесь и далее примеч. авт., если не указано иного.)

Единственный объективный взгляд на Виктора Гюго на третьем году жизни являет собой удручающий контраст. Отзыв дан бывшим коллегой его отца по военному совету и земляком Софи Гюго по имени Пьер Фуше – будущим тестем Виктора Гюго. Приходя в дом на улице Клиши, Фуше всегда заставлял младшего ребенка в углу; он хныкал и, пуская слюни, сосал соску^[53].

Еще одно место в детской, где любил сидеть маленький Виктор, – подоконник, откуда он наблюдал за сооружением особняка кардинала Феша^[54]. Вот верный признак того, что экономика и церковь постепенно выздоравливали после революции. Однажды, глядя, как работают каменщики, он увидел, как огромная глыба камня рухнула на землю, придавив рабочего. Другой раз в грозу улицы вокруг дома превратились в реки, и два брата бродили по ним до девяти вечера.

Возможно, то, что кардинал Феш был дядей Наполеона и совершил церковное венчание своего племянника с Жозефиной в 1804 году, – тоже чистое совпадение, хотя соседство Феша и семьи Гюго – еще один отрезок лабиринта, который в Париже XIX века связывает любое явление с чем-то еще. Во всяком случае, оба рассказа образуют своего рода аллегорическую виньетку к детству Гюго – детству, загромажденному большим количеством трупов, чем воображение его современников-романтиков.

Насилие и опасность в ранних воспоминаниях Гюго служат также точным отражением мира взрослых. В доме и на улице рядом с домом часто появлялись незнакомцы. Раскрыли заговор, имевший целью убийство Наполеона (заговор Моро), и за Лагори, как за одним из главарей, охотилась полиция. Как-то на рассвете в месяц фрюктидор (в сентябре 1804 года) в дом номер 19 по улице Клиши, где жил близкий друг Лагори, нагрянула полиция. Лагори они не нашли, так как он прятался в доме через дорогу; четыре ночи он провел у своей приятельницы Софи Гюго под именем «господина де Курлянде», а затем вынужден был скрываться в провинции^[55].

Решение Гюго «создать себе веру»^[56], развить непогрешимый взгляд на зло и ступать по прочной породе идеологии – парадоксальный результат массового временного помешательства, царившего во времена роста и укрепления наполеоновской империи. Бюрократия превратила огромное число населения в шпионов. Отношения Софи с заговорщиками и их союзниками-роялистами ни для кого не были тайной. Лагори могли арестовать в любую минуту, но он, судя по всему, пользовался тайной поддержкой министра полиции Фуше, чья разветвленная сеть осведомителей была подземной империей внутри империи, пережившей ее роспуск в 1810 году и, кстати, падение самой империи.

Единственным человеком, который по-прежнему пребывал в неведении, оставался майор Гюго; он по-прежнему недоумевал, почему его, не страдавшего излишней скромностью, не повышают в чине после девятнадцати лет безупречной службы. Безымянные люди, сидевшие в высоких кабинетах, знали, что у жены майора Гюго роман с заговорщиком. Любая просьба о повышении наверняка приходила к Наполеону вместе со ссылкой на дело Лагори. Гюго оставалось лишь биться головой о закрытую дверь в конце служебной лестницы, которую чиновники для него не открывали.

Через несколько недель после поражения в Трафальгарской битве, когда Наполеон начал войну против Австрии и России, двух главных сил Европы, майору Гюго выпала еще одна возможность доказать свою преданность. Он принял участие в завоевании Неаполитанского королевства. Австрийцев прогнали, и Наполеон сделал королем своего брата Жозефа Бонапарта. Получив возможность действовать по своему усмотрению, Жозеф назначил неустрашимого Гюго одним из своих адъютантов и послал его в горы Калабрии, где тот должен был уничтожить банду некоего Фра Дьяволо («Брат Дьявол»).

Кампания против Фра Дьяволо, окончившаяся арестом бандита и казнью каждого десятиго из его партизанской армии^[57], стала для майора одной из главных тем на званых ужинах.

«Он морщил нос, как кролик, – отличительная черта всех Гюго, – подмигивал, как будто знает новый анекдот, а потом рассказывал всем то, что мы уже двадцать раз слышали»^[58].

Майор излагал своим гостям события с точки зрения оккупационных войск. Более романтическая и, кстати, точная версия была хорошо известна Виктору Гюго и его современникам. «Бандит» был лидером народного сопротивления, итальянским Робин Гудом, которому ссыльный неаполитанский король пожаловал дворянство и который отказался признавать полномочия майора Гюго, когда тот пришел допросить его в камере.

Когда шестилетний Виктор впервые увидел отца после пятилетней разлуки, рассказы об отцовских подвигах стали поводом для сомнений и подозрений. То, что вселенная детства Гюго содержала настоящего беглеца, бунтовщика против отца, объясняет огромный эстетический и символический триумф романтической драмы «Эрнани». Образ благородного бандита считался банальным уже в 1830 году; но когда за легендой стояли подлинные разочарования и тревоги ребенка, она стимулировала фантазию целого поколения, выросшего в наполеоновскую эпоху. Два десятилетия спустя бандит нанес ответный удар:

Хромает часто месть; у ней неспешный шаг,
Но все ж она идет...
В моей ты все же власти!..
Зачем напоминать, что я тебя схватил,
Что стоит только мне зажать кулак свой дерзкий,
Чтоб был убит в яйце и твой орел имперский?^{2[59]}

В декабре 1807 года, ничего не сказав мужу, Софи Гюго неожиданно решила перевезти детей в Италию. К тому времени Гюго присвоили чин полковника и назначили губернатором провинции. Он поселился во дворце в Авеллино, к востоку от Неаполя.

Софи Гюго терпеть не могла путешествовать, однако ей представилась замечательная возможность обеспечить будущее детей, добиться ежемесячного пособия, а заодно выяснить все, что можно, о девице Тома. По словам полковника, его супруга «строила замки в Испании»^[60] (пророческий образ), внушая троим сыновьям фантазию об огромном состоянии, которое их отец якобы тратит на проститутку и веселую жизнь. Клад, до которого невозможно было добраться, стал семейной легендой. На самом деле никакого состояния не было. Отец не способен был уследить за своими тратами, а мать попеременно то берегла каждый грош, то безудержно транжирила. Неудивительно, что, став взрослым, Виктор Гюго стремился экономить на всем. Из-за этой своей в высшей степени неромантической черты он прослыл скрягой.

Два месяца семья жила в карете; в январе они пересекли Альпы у Монсени – Абель и Эжен на мулах, Виктор и мать в санях; или, как говорится в оде «Мое детство» (Mon Enfance, 1823): «Высокий Сени, твой орел любит дальние скалы, /Из пещер своих, где ревут лавины,/ Слышал, как скрипит древний лед под детскими ногами».

Виктор стал свидетелем наводнения в Парме, мельком видел белые барашки на волнах Адриатического моря, смотрел на отсеченные головы разбойников, которые прибывали к деревням по обочинам дорог, махал соломенными крестами крестьянам, которые при таком зрелище крестились^[61], – что подвергает сомнению набожность его матери, – и боялся, что карета может в любой миг перевернуться. В Риме он любовался туфлей святого Петра, разъединенной за пятнадцать веков, что ее целовали пилигримы^[62]. Именно там Софи Гюго объявила детям, что семья вот-вот прибудет во дворец полковника.

Полковник Гюго быстро нашел им дом в Неаполе, заявив, что дворец в Авеллино не подходит для проживания семьи, – несомненно, он говорил чистую правду. Тридцатичетырех-

² Перевод Вс. А. Рождественского. (Примеч. пер.)

летний незнакомец в ослепительной форме записал мальчиков в Королевский корсиканский полк^[63]. Благодаря этому поступку Виктор Гюго получил основания называть себя «солдатом с детства». Впрочем, военной карьерой он пожертвовал ради поэзии, а иногда успешно сочетал оба своих призвания. Полковник, в силу занятости, не мог проводить с сыновьями много времени. Дети жили в Неаполе, а родители обменивались гневными письмами.

Неаполь для Софи Гюго был подобен аду: он кишел воинственными бедняками, которые жарили рыбу и варили макароны прямо на улице, рядом с домом^[64]. Таким был город, в котором Стендаль три года спустя жалел, что не вернулся в Париж^[65]: дурное общество, плохая музыка, горластые нищие и кареты, которые слишком быстро мчатся по ужасным дорогам. Везувий извергался – «один из красивейших ужасов Природы», в полном восторге писал полковник в письме^[66]. Его сын описал происходящее в героическом, классическом видении, когда ему было двадцать с небольшим лет, – история целого года в миниатюре, притом зашифрованная:

Неаполь, на чьих пряных берегах омывается Весна,
Неистовый Везувий покрывает его горящим пологом,
Как ревнивый воин, который, видя пир,
Бросает среди цветов свои окровавленные перья^[67].

Для Гюго это очень яркий личный образ. В садах его детства материнские клумбы были священными. Похоже, Софи Гюго дарила цветам ту любовь, в которой отказывала мужу. В стихах шлем воина производит такие же разрушения, как футбольный мяч^[68].

Период жизни в Неаполе до возвращения в Париж младший сын запомнил не слишком хорошо и неточно. Впрочем, его искаженные воспоминания так же помогают найти истину, как и подробный рассказ. Четыре месяца они провели во дворце в Авеллино; Виктор запомнил длинную трещину в стене спальни (результат землетрясения), через которую он смотрел на окрестности^[69]. Кроме того, сохранился любопытный образ, как «сидел верхом» на мече отца «в римских казармах»^[70], – видимо, потому, что Rome по-французски рифмуется с homme («человек»), а Naples (Неаполь) – с Étapes (городок на севере Франции). Явное указание на то, что в его автобиографических стихах не следует искать ни географической, ни хронологической точности.

На самом деле жить в Авеллино, которое показалось Гюго долгим, было просто экскурсией – пока там не было любовницы отца. Семья прожила в Неаполе целый год; возможно, потому, что Софи Гюго заболела. В июле полковника Гюго призвали к Жозефу Бонапарту в Испанию, и, хотя он не обязан был подчиняться, он тут же умчался на войну. Единственным надежным свидетельством того, что произошло во время года, проведенного в Италии, служит неоправданно оптимистичное письмо, написанное полковником в Витории 10 октября 1808 года. Он только что послал жене в Неаполь шесть тысяч франков и обещал перевести деньги для мальчиков:

«Дети... получают образование, которое позволит мне обеспечить их карьеру. Так они не испытают на себе пагубных последствий нашего решения жить раздельно. Мы должны позаботиться о том, чтобы они не узнали о нашем решении. Не стоит осложнять им жизнь дальнейшими взаимными попреками.

Мы убедились в том, что не можем жить вместе, и теперь, когда интересы наших детей возобладали над публичным, юридическим разрывом, ты должна воспитывать их, внушая уважение к нам обоим в равной мере»^[71].

Судя по письмам, написанным Виктором Гюго вскоре после смерти матери, надежда его отца оказалась не такой тщетной, какой он ее считал: «Она никогда не говорила о вас в гневе,

и именно она внушила нам глубокое уважение и любовь, которые мы всегда к вам питали» (28 июня 1821 года).

Второе письмо ближе к двусмысленной правде: «Мы всегда гордились вашей блестящей репутацией, и наша любимая мама, даже во времена худших страданий, всегда первой внушала нам уважение к ней и напоминала о гордости, с какой нам следует произносить нашу фамилию» (28 ноября 1821 года).

Здесь отец является абстракцией. Отец для него – олицетворение некоего статуса^[72].

Для Софи Гюго в 1808 году замечание о «карьере» мальчиков звучало довольно зловеще. Франция воевала с рождения ее старшего сына, и каждый мирный договор служил сигналом к битвам на новом фронте. Ее мальчиков тоже собирались сделать пушечным мясом империи.

В феврале 1809 года, вскоре после возвращения в Париж, Софи Гюго нашла идеальное убежище. Тихая улица или, скорее, переулок на южной окраине города выходил на улицу Сен-Жак. Калитка в противоположном конце переулочка Фельянтинков вела во внутренний двор и к дому – бывшей монастырской постройке. При Людовике IV монастырь фельянтинков служил убежищем для взятых под стражу неверных жен – обычай, который почти во всем Париже сохранился до конца XIX века. Позже он служил также домом отдыха благодаря тишине и чистому воздуху. Во время революции его закрыли, и он постепенно разрушался^[73].

Две комнаты в задней части дома, с высокими окнами, выходили на юг, в обширный разросшийся сад и на старинную аллею, усаженную каштанами, – пять акров дикой природы, огороженные высокими каменными стенами^[74]. Над тайным садом возвышались, создавая особый колорит и климат (по словам Бальзака, который в «Маленьких буржуа» поселил там отставного чиновника^[75]), «гигантский призрак» Пантеона и «свинцовый купол» церкви Валь-де-Грас. Пробираясь в высокой, до колен, траве за свисающими виноградными лозами и шпалерами, Виктор и его братья обнаружили стену разрушенной церкви. За двадцать лет до их приезда чья-то рука написала на ней слова «Национальная собственность». В июне после их приезда за алтарем появилась импровизированная постель. Иногда в саду видели мужчину; он гулял по дорожкам и читал книгу. Другим семьям, жившим в доме, сказали, что там живет чужак – родственник госпожи Гюго, у которого странные привычки. Для мальчиков он был «господином де Курлянде», который помогал им делать уроки, участвовал в их играх и неизменно приводил их мать в хорошее расположение духа.

Все тропинки в голове Гюго неизменно приводят к саду на улице Фельянтинков^[76], где щебетали птицы, «цветы раскрывались, как веки»^[77], за ветвями поднимался дым из труб в соседних домах, а по небу плыла луна. Подтверждение того, что на свете существует безопасное, тайное место совсем недалеко от вечно мятежного города. Вот что придает банальности Матери-Природы такой резонанс в поэзии Гюго. Под влиянием матери он получил непосредственные сведения о природе. Такое образование Гюго всю жизнь считал противоядием академической науке. Когда несколько лет спустя (в стихах *Ce Qui se Passait aux Feuillantines Vers*, 1813) к ним пришел директор школы, «лысый, черный» и «уродливый», и попросил госпожу Гюго отдать сыновей в его школу-интернат, именно сад убедил мать оставить детей дома:

Вульгарный человек произносит напыщенные фразы
И огорчает даже самых сильных женщин:
«Так надо! Это им подходит! Это важно!»
О, мама бедная! Какой же выбрать путь? ...
И вот тогда красивый сад, сверкающий Эдем,
Старые крошащиеся стены и юные розы,
Предметы, что умеют думать, и тихие мелочи
Говорили с мамой через воду и воздух

И тихо шептали: «Оставь дитя нам!»

На улице Фельянтинок у Виктора Гюго впервые появляются товарищи по играм: дети Делонов и Фуше. Их отцы служат в военном совете. Мальчик Делон был на восемь лет старше Виктора, и его окружала дурная слава: вместо того чтобы ходить по тро туару, он передвигался по сточным канавам или перепрыгивал с одной крыши на другую. Виктор Фуше был ровесником Виктора Гюго; его сестра Адель была почти на два года моложе. Их старший брат, Проспер Фуше, как-то играл у печки, загорелся и умер, пока его родители взламывали дверь, которую он по какой-то причине запер^[78]. Трагедия имела для Виктора Гюго важное последствие: с тех пор мать Адели чрезмерно опекала детей. Она не могла себе простить, что по совету мадам Гюго отдала Проспера в школу. По словам Адели, Софи Гюго посоветовала дать Просперу образование из-за того, что она «не выносила шума, который поднимали чужие дети».

Мальчики Гюго отличались задумчивостью. Когда семья жила в Неаполе, полковник Гюго называл младшего хорошеньким, прилежным мальчиком, который всегда думал перед тем, как говорить, и хорошо ладил с братьями^[79]. Несколько месяцев спустя, на улице Фельянтинок, Виктор Гюго стал вести себя вполне нормально. Он играл в оловянных солдатиков, мучил лягушек и насекомых, обладал даром вывихивать руки своим товарищам по играм и качал Адель на качелях, пока та не исчезала в ветвях. Вполне подходящее начало для будущего романа!

Об ужасах, которые видел Виктор, путешествуя по дорогам наполеоновской империи, напоминало лишь дно пересохшего колодца. Там жило черное, чешуйчатое, прыщавое создание, поросшее волосами и покрытое слизью, которое «следило за всеми, а его не видел никто». Его звали *le sourd* («глухой»), возможно, по ассоциации со школой для глухих, которая до сих пор находится неподалеку, на улице д'Энфер^[80].

Когда Виктор не играл и не поливал цветы по поручению матери, его посылали вместе с братом Эженом брать книги в местном «кабинете чтения» на улице Сен-Жак^[81]. Хранитель в напудренном парике пускал их на антресоли, где хранились сокровища. Там он держал бульварные романы, «воспламенявшие любовный пыл парижских консьержек», книги, в которых жена трактирщика Тенардьё из «Отверженных» «топила свой убогий мозг»^[82]. Софи Гюго очертила некие границы, в пределах которых позволяла сыновьям делать что им вздумается. Она считала, что незнание жизни – естественная защита против безнравственности таких романов. Благодаря такому просвещенному подходу Виктор научился читать до того, как пошел в школу. В приложении к семейной жизни воспитанию матери суждено было сыграть катастрофическую роль.

Самым необычным и странным в том садовом раю служит важная подробность, которая впоследствии чаще всего подвергалась искажению. Речь идет о Лагори. Интересно, как детское замешательство отразилось в позднейших воспоминаниях о том периоде жизни. Несколько раз Виктор помещает в сад своего отца – хотя полковник Гюго ни разу не приезжал на улицу Фельянтинок. Возможно, на то, что было на самом деле, наложились приезды дядей, младших братьев полковника, Луи и Франсиса, которые тоже служили в армии^[83]. В двух разных стихотворениях он пишет о том, как смотрел на Наполеона во время парада, и создается впечатление, что его отец тоже маршировал в строю других военных, хотя в то время он находился в 600 милях от Парижа^[84]. Враг Наполеона, Лагори, заменяется его верным подданным, Гюго. Объективная истина тех стихов заключается в отождествлении отца с императором. Время от времени ясно слышен голос, который в стихах Гюго проговаривается как голос из зрительного зала, и прорывается двусмысленное отношение к отцу и Наполеону: «Шестилетние дети, мы выстраивались вдоль твоего пути; / Ища в колонне гордое лицо отца, / *Nous te battions des mains*». Странно неуклюжее выражение, которое должно было означать: «Мы аплодировали тебе», но первым приходит в голову несколько иное: «Мы били (хлопали) тебя руками».

В позднейших записях Гюго даже делает отца ответственным за жизнь Лагори в старой церкви: «Отец открыл для него двери своего дома». В то же время он намекает на истинную роль, какую сыграл беглец в его воспитании: Лагори «устремил на меня свой взор и сказал: „Дитя, запомни. Свобода превыше всего“. Потом он положил руку на мое плечико, и дрожь, которую я тогда ощутил, до сих пор со мной»^[85].

Символическая сцена в саду напоминает – как, собственно, и было задумано – другую, более знаменитую сцену революционного прошлого: Бенджамин Франклин приводит внука к Вольтеру, дабы тот получил «благословение» великого человека. *Dieu et la Liberté*, «Бог и свобода». Кроме того, воспоминание Гюго свидетельствует о том, что политическая идеология способна сбить ребенка с толку. «Это слово, – пишет поборник демократии Гюго из ссылки, – перевесило все образование».

Образование на улице Фельянтинок со временем свелось к шестичасовым урокам в грязной маленькой школе на улице Сен-Жак – в помещении, больше похожем на склеп. Дети с близлежащих улиц ходили туда заниматься; одаренным давали частные уроки. Школу возглавлял бывший аббат по имени Антуан Клод де ла Ривьер, или Ларивьер^[86]. Во время революции Ларивьер принял тройные меры предосторожности: он оставил церковь, отменил частицу «де» и женился на горничной. До Реставрации 1815 года расписание в начальных классах никак не регламентировалось^[87]. Ранее рекомендовалось учить детей чтению, письму, азам грамматики, арифметики и черчения, а также новой десятичной системе. Вместо всего этого, с одобрения Софи Гюго, Ларивьер вкладывал в открытые умы учеников латынь. Поэтому к девяти годам Виктор свободно цитировал Горация и переводил Тацита – достижение примечательное даже при относительно свободном расписании.

В четыре часа Виктор и Эжен возвращались домой. Они проходили мимо хлопкопрядильной фабрики, где уличные мальчишки «швырялись в нас камнями, потому что у нас были не рванные брюки»^[88]. Вечером братья состязались, кто больше переведет из латыни: ранний признак соперничества, которое неблагоприятно поощрял Ларивьер.

Позже Гюго нарисовал довольно мрачную картину своего образования в руках «священника»^[89] и описал старческое слабоумие учителей, которое считал заразной болезнью^[90]. Но то было время, когда он мобилизовал собственное прошлое в качестве политического союзника, когда он видел в каждой французской деревне «зажженный факел» (директора школы) и «рот, пытающийся его погасить» (священника)^[91]. Впрочем, самого Ларивьера Гюго пощадил: он называл его жертвой политических предрассудков. Как Гюго говорил отцу в 1825 году, когда Ларивьер, впавший в крайнюю нищету, просил, чтобы ему заплатили по счету десятилетней давности: «Всеми нашими малыми достоинствами мы обязаны этому почтенному человеку»^[92]. Красноречивое замечание, которое подчеркивает, что в противовес бравому вояке-отцу положительные мужские образы у него связаны с книгами: Ларивьер, Лагори и обладавший широкими взглядами хранитель «кабинета для чтения».

Утром 30 декабря 1810 года в переулок Фельянтинок вошел местный начальник полиции, которого сопровождал отряд солдат. Через несколько минут они увели таинственного «господина де Курлянде»^[93].

Тогда министром полиции назначили Савари, бывшего друга Лагори; он решил доказать свою преданность. Лагори отправили прямо в тюрьму. Больше Виктор никогда не видел своего крестного.

Мать Виктора могли тогда же арестовать и выслать как сообщницу Лагори. По ее словам, «своим спасением она обязана знанию определенных фактов, разоблачения которых Савари не желал»^[94]. Софи Гюго наверняка не сделала бы такого поразительного признания, да еще в письме военному министру в 1815 году, если бы ей нечего было сказать. Возможно, ее тайные

знания даже имели отношение к тому, что в 1816 году, через год после того, как она написала письмо, Савари вынесли смертный приговор.

Шантаж министра полиции намекает на то, что Софи едва ли оставалась пассивной и не принимала участия в заговоре против Наполеона. Она развернула бурную деятельность после того, как Лагори посадили в тюрьму. Кто-то извне должен был принимать от него записки, координировать действия и, как жаловался полковник Гюго, тратить необъяснимо большие суммы денег^[95]. Истинное положение дел за стенами сада гораздо примечательнее прекрасной легенды о храброй маленькой бретонке, которая рисковала жизнью ради любимого ею заговорщика. Пока полковник Гюго способствовал укреплению и разрастанию древа империи, его жена подпиливала ствол.

Вот где выходит на поверхность цветистая легенда Гюго о матери-«бандитке», занятой контрреволюционным шпионажем, – надо лишь слегка подправить хронологию. Именно в детском раю в переулке Фельянтинок он впервые услышал «Историю, рассказанную на „ты“»^[96]. Знакомство с подробностями человеческого происхождения разрушительных событий открывают возможность, на более глубинном уровне, разыграть собственные, личные драмы с помощью истории, которую можно рассматривать и как взгляд с высоты, и как прекрасную возможность и психологическую необходимость. Выражаясь словами Гюго: «Общество великих позже облегчило мне способность поддерживать долгие беседы один на один с Океаном»^[97].

Через два месяца после внезапного исчезновения Лагори Софи Гюго подарила сыновьям испанскую грамматику и словарь и объявила: теперь их отец генерал, и вскоре они уезжают в Испанию.

Генерала Гюго назначили губернатором трех испанских провинций. Король Испании, Жозеф Бонапарт, сделал его графом (еще до того, как Наполеон заметил, что испанские гранды, в сущности, равны королям). Гюго предложили выбрать из нескольких титулов, и он остановился на графе Сигуэнце. Именно в Сигуэнце он, сломав церковную стену, нашел огромную сокровищницу, которую, как считалось ранее, забрали партизаны. Король Жозеф за спиной нового графа Сигуэнцы отправил сообщение Софи Гюго, побуждая ее и сыновей присоединиться к мужу. Огромная армия удерживала Испанию против Веллингтона, который сосредотачивал войска в Португалии. В самой Испании французов-оккупантов успешно осаждали в малых и больших городах. Жозеф пытался создать впечатление постоянства и стабильности.

По словам Софи Гюго, она надеялась «привести мужа в чувство»^[98]. Генерал Гюго и его наложница «транжирили огромные суммы, которые причитались ему как военачальнику, в то время как его добродетельная супруга и несчастные дети влачили жалкое существование в Париже, где жили на те крохи, которые господин Гюго считал нужным уделять им от своей роскошной жизни»^[99]. Крохи, кстати, были немалыми: только в 1810 году генерал Гюго выслал жене 51 тысячу франков (около 153 тысяч фунтов стерлингов на современные деньги)^{3[100]}. В 1811 году, перед отъездом в Испанию, Софи Гюго наняла карету и взяла в банке 12 тысяч франков. Даже с учетом инфляции то было целое состояние: на цену одного билета из Парижа на юг Франции можно было прожить целый месяц^[101].

Они взяли с собой камердинера и горничную, оставив кошку и канарейку. За растениями должна была приглядывать госпожа Ларивьер, жена директора школы. 10 марта 1811 года они отправились к театру военных действий, а мальчики еще корпели над списками испанских слов. В девять лет Виктор снова отправлялся в страну, которую он никогда не видел; но на сей раз то была страна, где он начнет открывать загадку собственной личности. Даже без приукрашиваний взрослого Гюго путешествие в Испанию и обратно можно считать одной из величай-

³ Для приблизительного эквивалента в долларах США нужно умножить сумму на 1,6.

ших романтических экспедиций – не только в смысле необычайных происшествий в дороге, но, превыше всего, в своих последствиях.

Глава 3. Бедствия войны (1811–1815)

Софи Гюго, Абель и двое слуг сидели внутри, Виктор и Эжен захватили два места впереди; от холода и ветра их защищала только кожаная полость. Со своего места они видели кучера, который щелкал хлыстом, любовались видами и доказывали свою физическую выносливость. У героев появился новый враг: современные удобства.

При отъезде из Парижа Виктор Гюго впервые намеренно подставляет себя ветру истинных испытаний – пожизненная привычка, которая, даже в приятный век железных дорог, «делала его ужасным спутником в путешествиях для всех, кто боится сквозняков»^[102].

Продвигались медленно, ведь все крепкие лошади во Франции были конфискованы Наполеоном. Они останавливались в Блуа, Ангулеме и Бордо, пересекли реку Дордонь на пароме и через девять дней прибыли в Байонну на дальнем юго-западе Франции. Софи Гюго сняла комнаты, где они ждали обоза, который должен был отправиться в путь через месяц. Обоз вез золото для короля Жозефа.

Где-то за Пиренеями генерал Гюго бился с другим бандитом, героем испанского сопротивления, которого звали Эль Эмпесинадо («Упрямец»). Его войска творили ужасы, изображенные на серии гравюр Гойи «Бедствия войны». Генерал перенял один «милый» местный обычай: выставление напоказ отрубленных голов, которые должны были послужить примером. Он подошел к делу творчески и привнес кое-что свое: приказывал прибавать отрубленные головы над церковными дверями. Французская революция еще экспортировала свой антиклерикализм, уничтожая дух инквизиции со свойственным самой инквизиции пылом и применяя те же пытки. Оглядывая историческую драму с наблюдательного пункта будущего, Виктор Гюго склонен реабилитировать отца на том основании, что он действовал во имя высшего блага: «Эта армия несла в ранце энциклопедию». «Они открывали монастыри, срывали вуали, проветривали ризницы и поворачивали вспять инквизицию»^[103].

Как ни странно, именно такое мнение о «вольтерьянской Армии спасения» бытовало в той параноидальной среде, с которой Гюго мальчиком столкнулся в Испании. Именно так считали прогрессивные сторонники французов. Но его замечания содержали в себе нечто большее, чем просто тщеславный исторический анализ или возвращение к детским предубеждениям. Прежде чем пройти по следам отца, Гюго воссоздавал их. Полвека спустя он хвастает 740 ругательными статьями об «Отверженных» в католических газетах и радостно записывает откровение, высказанное в одной клерикальной мадридской газете: оказывается, «никакого Виктора Гюго не существует, а истинным автором „Отверженных“ является создание, называемое Сатаной»^[104]. Отец Гюго действовал на стороне Бога; повинаясь Божьей воле, носители прогресса были славными людьми: «Пусть сегодняшняя армия возьмет на заметку: те люди не подчинились бы приказу, если бы им велели открыть огонь по женщинам и детям».

Последнее замечание – откровенная неправда. Именно после той страшной кампании генерал Гюго получил титул граф Сигуэнца, и наградили его вовсе не за совесть.

Во время ожидания в Байонне Виктор и его братья пресытились театром (в Париже театр посещали раз в год). Они смотрели «Вавилонские развалины», популярную мелодраму с джином, калифом, евнухом и люком в полу. На следующий вечер они снова посмотрели «Вавилонские развалины». Так продолжалось пять дней. На шестой они с отвращением остались дома: очевидно, сокращение зрителей не гарантировало изменения в программе. Вместо театра Виктор коллекционировал птиц, которых покупал у местных мальчишек, раскрашивал картинки в своей книжке «Тысяча и одна ночь», подаренной ему Лагори, и слушал дочь хозяйки, которая читала ему вслух.

Во время одного из таких чтений произошло событие, которое позже Гюго пожелал включить в свою биографию, составленную женой. При виде вздымающейся груди девушки у него

впервые возникла эрекция – или, как написано в неопубликованном варианте биографии, «его зрелость заявила о себе». Гюго также описал великое событие в тексте, который он намеревался опубликовать: «Я вспыхнул и задрожал [, когда девушка заметила, куда он блудливо смотрит. – Г. Р.] и притворился, будто играю с большой дверной задвижкой... Именно тогда я увидел первый невыразимый свет, который засиял в самом темном уголке моей души»^[105].

Этот, что типично, неловкий и вместе с тем утонченный перифраз – великолепная демонстрация того, что литературные правила приличия, даже стыдливость, имеют определенные эстетические преимущества. Кроме того, зарисовка напоминает о том, что в весело журчащем ручейке романтической прозы имеются и более темные подводные течения. Без определенной дисциплины то, что теперь кажется самоограничением и эвфемизмом, мелочи, которые в ином случае производят впечатление банальностей, утрачивают свою пророческую глубину. Текст Гюго запечатлел жизненно важный миг. Здесь не просто первое плотское желание девятилетнего мальчика, но и первый намек на средства выражения «невыразимого», сохранения таинственного отпечатка звуков и предметов в мозгу. «Пока она читала, я не обращал внимания на смысл слов; я прислушивался к звуку ее голоса».

Наконец настал великий день: в театре давали новую пьесу. Прибыл покрытый белой пылью гренадер; его прислали сопровождать госпожу Гюго и ее сыновей через границу в Ирун, где собирался обоз. Впервые, будучи совершенно сознательным существом, Гюго увидел, как приподнимается занавес над совершенно новым миром. Через тридцать два года он заново открыл для себя Ирун и пытался сбросить покров городского «улучшения», который угрожал разрушить его прошлое: «Именно там Испания впервые явилась мне и так поразила меня своими черными домами, узкими улочками, деревянными балконами и прочными дверями – меня, ребенка Франции, выросшего среди красного дерева Империи. Мои глаза привыкли к постелям с звездным узором, к креслам с лебедиными шеями, вешалкам в форме сфинксов, к позолоченной бронзе и бирюзовому мрамору. Теперь, с чем-то, напоминающим ужас, я видел огромные резные буфеты, столы с изогнутыми ножками, кровати под балдахинами, массивное, изогнутое столовое серебро, витражные окна – тот старый Новый мир, который раскинулся передо мной. Увы!.. Теперь Ирун похож на Батиньоль»^[106].

Семейство покинуло Ирун с обозом в бочкообразной старинной карете, обитой металлическими пластинами от пуль. Ее тащили шесть мулов, в горах впрягали четырех быков. Рядом с каретой и позади нее маршировали две тысячи пехотинцев и кавалеристов. Кроме них, в обозе насчитывалось еще сто карет, выкрашенных в имперские цвета – зеленый с золотом. На высокогорных перевалах на фоне неба иногда появлялись силуэты, и все вспоминали, что предыдущий обоз был перерезан у Салинаса. Женщин изнасиловали, детей изуродовали (кто-то рассказывал Виктору, что партизаны особенно любят детей), а мужчин изжарили на вертелах. Обоз, с которым ехала Софи Гюго, был в три раза меньше предыдущего: считалось, что так ехать безопаснее. В них стреляли только один раз.

На каждом привале их ставили на ночлег в чьи-то дома. Хозяева оставляли еду и исчезали, что-то бормоча, за закрытыми дверями. При виде мух и прогорклого масла Софи Гюго почти покинула храбрость. Чем ближе они подъезжали к Мадриду, тем меньше оставалось свежей еды и тем больше видно было следов деятельности французов. В Торквемаде и Саладасе спать оказалось негде: оба городка разрушили до основания. Виктор и его братья играли среди развалин. Однажды мимо них проследовал «полк калек» – изуродованные остатки французских батальонов, которым велели самостоятельно возвращаться во Францию. До родины добрались немногие.

Почему Софи Гюго решила подвергнуть жизнь своих детей опасности, становится яснее в свете происшествия, которое имело место за городком под названием Мондрагон. Дорога

⁴ В 1840-х гг. пригород Парижа.

шла под гору; мул оступися, и карета покатила в пропасть. Одно колесо зацепилось за валун. Пока гренадеры вытаскивали карету на дорогу, Софи Гюго приказала детям оставаться на месте и не хныкать – они же не девчонки! В рукописной версии биографии Виктора Гюго написано, что его мать «была очень тверда в своей образовательной системе». Для нее такое крещение огнем было просто родительским долгом. Однажды, застав пяти- или шестилетнего Виктора в слезах, она в виде наказания отправила его гулять в девчачьем платье^[107]. И отец и мать считали, что нежелательные стороны характера можно вырезать – как во время хирургической операции. Путешествие в Испанию должно было стать неоценимой частью воспитания Виктора – если бы их, разумеется, не убили.

Софи Гюго не учитывала, что те, ради кого она старалась, попробуют создать похожие ситуации по собственной инициативе. Жизнь Гюго перемежается, почти через равные промежутки, происшествиями, которые требуют явных проявлений храбрости, и убежденностью в том, что его родные и близкие охотно последуют за ним на ту сторону пропасти. Другим непредвиденным последствием стало то, что «храбрость», которая для Софи Гюго во многом заключалась в сохранении лица, заставляла ее сына безудержно раздувать собственные достижения и позволяла предавать друзей.

Путешествие призвано было стать и познавательной экскурсией. В этом смысле оно имело большой успех. В Бургосе, на середине пути, Виктор Гюго обнаружил в себе страсть к архитектуре. Его заворожил собор с фейерверком башенок и механической фигурой, которая выходила из окна, прорезанного высоко в стене, три раза хлопала в ладоши и исчезала. Откровение готической фантазии в Бургосе, возможно, объясняет, почему некоторые читатели считали, что собор в романе Гюго о горбуне не слишком похож на собор Парижской Богоматери.

Два года спустя, когда французы отступали из Испании, генерал Гюго разрушил три башенки и выбил знаменитые витражные окна, взорвав крепость и часть города. Но и в 1811 году французы уже оставили в Бургосе свой след. Софи Гюго водила сыновей на могилу прославленного Сиды Кампеадора, национального героя Испании. Французские солдаты, не ведающие, по глупости своей, о том, как их поступок повлияет на настроения испанцев, использовали гробницу как мишень в тире^[108]. Тем временем генерал Гюго, начальник мадридского гарнизона, деловито разрушал и вывозил сокровища национального достояния. Он распорядился доставить в Лувр и Люксембургский дворец шедевры Веласкеса, Мурильо и Гойи – об этом счел нужным упомянуть лишь автор статьи о генерале Гюго в испанской «Универсальной энциклопедии».

Уместно вспомнить, что Виктор Гюго, который столько сделал для сохранения средневековых произведений живописи и архитектуры, был сыном человека, который воровал и взрывал их. Большую часть творчества Гюго можно рассматривать – как он рассматривал его сам – как своего рода репарацию и паломничество: эпос о Сиде в «Легенде веков» и две пьесы, которые получили названия тех мест, которые он проезжал в 1811 году, – «Торквемада» и «Эрнани». Несмотря на собственническое, покровительственное отношение к истории как к источнику вдохновения, испытываешь некоторую неловкость, читая откровения Гюго о подвигах отца в Испании. Он всячески стремится преувеличить и собственные дары, сделанные этой стране, не говоря уже о знании испанского языка^[109]. Вместе со всеми, кто впоследствии писал об этом, Гюго находился под впечатлением, будто он подарил маленькому городку Эрнани первую букву из своей фамилии. На самом же деле город всегда так и назывался: Hernani^[110].

Последней насмешкой судьбы стало то, что живописную Испанию, которую сын генерала Гюго позаимствовал для своих стихов и пьес, позже «реимпортировали» его испанские почитатели; они внесли свой вклад в создание фиктивной самобытности культуры.

Проведя в пути больше трех месяцев, обоз достиг окраин Мадрида. Важно было произвести хорошее впечатление. Солдатам приказали вымыться, причесаться, переодеться в чистые

мундиры. Ружья начистили, а госпожа Гюго приказала вынести свою карету. Потом они попали в пыльную бурю и прибыли в Мадрид грязные и уставшие, зато живые и невредимые.

И сразу же попали в бой. Для них распечатали похожие на пещеры комнаты во дворце бывшего французского посла князя Массерано. Генерал граф Гюго в то время находился в Гвадалахаре, где уничтожал бандитов, и в знак приветствия жены в Испании подал на развод. В поддержку своего прошения, адресованного «его величеству Жозефу Наполеону, королю Испании и Индий», он писал, что его «тщеславной», «властной» жене удалось истратить 12 тысяч франков просто на поездку, без приглашения, из Парижа. Доказательство того, что его власть попирают.

Вернувшись из Парижа, где крестили сына Наполеона, Жозеф Бонапарт под каким-то благовидным предлогом примирил супругов Гюго. В августе генерал Гюго прислал жене огромную корзину со свечами и апельсинами, а также несколько своих мундиров, как будто желая сказать, что по крайней мере частично он будет жить с семьей.

Оставалось ждать, пока легендарный человек явится лично. В ожидании Виктор и его братья обследовали дворец^[111]. Больше всего их влекла к себе галерея, увешанная портретами предшественников Массерано. Портреты казались огромными из-за множества зеркал и люстр. Софи Гюго решила, что в галерее мальчики будут играть. Три мальчика бегали там друг за другом, гадали, какие еще сокровища спрятаны за запертыми дверями, и нашли две огромные японские вазы, в которые очень удобно было залезать во время игры в прятки. Перед сном Виктор купался в мраморной ванной и засыпал под Девой Марией, пронзенной семью стрелами.

Иногда с ним в вазе сидела местная девочка по имени Пепита^[112]. «Ей было шестнадцать; она была высокая и красивая», в шелковой сеточке для волос, расшитой дублонами, и «в курточке тореадора» из синего бархата с черным кружевом. За Пепитой ухаживали военные; судя по всему, она позволяла мальчику-французу целовать себя, чтобы раздражить своих ухажеров.

Пепита составляла разительный контраст с Аделью Фуше, маленькой буржуазкой, оставшейся в Париже. Она была дочерью профранцузски настроенного маркиза Монтеэрмозы. Ее мать так любила Францию, что стала любовницей Жозефа Бонапарта. Кажется слишком удобным совпадением: пока Виктор Гюго играл с дочерью, старший Бонапарт наслаждался обществом матери, – как ни странно, об этом Виктор Гюго никогда не упоминает. Примечательно и другое: подружка Гюго позировала не кому иному, как самому Гойе. Таким образом, у нас есть возможность сравнить ее описание, сделанное Гюго в книге «Искусство быть дедом» (*L'Art d'Être Grand-Père*), в части, озаглавленной «Во что одевался дедушка, когда был маленьким», с портретом кисти Гойи и разглядеть лицо, которое Гюго старался сохранить в памяти до конца своих дней. Такой была «испаночка» – позже он находил сходство с ней в своей невесте, Адели. «Испаночку» вспоминает герой «Последнего часа приговоренного к смерти» (*Le Dernier Jour d'un Condamné*). Возможно, она же послужила источником для цыганки Эсмеральды из «Собора Парижской Богоматери» (*Notre-Dame de Paris*). Адель и Пепита были чем-то похожи: черные волосы и глаза, сильное, немного круглощекое лицо, серьезность и демонстративная сдержанность. Но в главном они были разными. Если отвлечься от любопытной «одномерности» на портрете Гойи, видно, что лицо Пепиты сохраняет определенную игривость и смелость. Последних качеств не доставало Адели. Она ни за что не позволила бы себе влезть в вазу вместе с возбужденным мальчиком.

Родители Виктора тоже в некотором смысле играли в прятки. В сентябре 1811 года генерал случайно узнал страшную тайну: его жена жила с другим. С юридической точки зрения ее преступление было гораздо серьезнее его постоянной любовницы. Жестокий гений генерала Гюго (выражение Софи) заставил его отрицать помощь, которую он когда-то получил от Лагори, и в письме королю Жозефу обвинить собственную жену в «государственной измене».

Специально ли он делал упор не на личной, а на политической неверности жены? Как бы там ни было, он рассчитывал, что сыновей отдадут ему.

Абеля сделали пажом короля Жозефа; в глазах младших братьев он вдруг стал взрослым. Пажи при франко-испанском дворе носили синюю форму с золотой отделкой, шелковые чулки, шляпу с белыми перьями и – мечту каждого мальчика – меч^[113]. Прежде чем поступить на службу к королю, Абель должен был вместе с Виктором и Эженом посещать школу для сыновей знатных родителей в близлежащем монастыре Сан-Антонио-Абад, который французы называли «Коллежем для знати».

Софи Гюго оставила детей в бессолнечных, гулких коридорах с двумя монахами – одним тонким, другим толстым; от обоих пахло склепом. Воспитанная в духе Просвещения, она сообщила монахам, что ее сыновья не смогут посещать мессу, поскольку они протестанты. Но с детьми французского генерала обращались почтительно. Кроме того, братья Гюго на несколько лет опережали других учеников в латыни, и потому их сразу зачислили в старший класс. Такое быстрое повышение могло примирить их с потерей матери, но вместо того лишь усилило их замешательство. Власть и бессилие сочетались друг с другом. Иногда генерал катал их в карете вместе с любовницей, самозваной «графиней де Салькано», но мальчики редко видели отца во плоти. Чаще они узнавали о нем от других. Образ получался глубоким и впечатляющим. Кажущиеся хвастливыми преувеличения в оде «Мое детство» (*Mon Enfance*), скорее всего, очень точно описывают детские впечатления:

По землям десяти покоренных рас
Я проезжал беззащитный, пораженный их боязливым почтением.
В таком возрасте, когда принято жалеть, я казался защитником,
А когда я произносил заветное имя: Франция,
Иностранцы бледнели^[114].

Воспоминания Гюго о мадридском коллеже бывают и радостными, и мрачными – в зависимости от идеологического контекста. Похоже, все неприятности коренились в семейном разладе. В городе начался голод; в школе урезали пайки, но в его воспоминаниях сохранились только сладкие дыни и *олья подрида* – мясо, тушенное с овощами. Позже он часто требовал приготовить это блюдо у себя дома. В почти пустынных дортуарах зимой гуляли сквозняки. Братьям Гюго прислуживал несчастный маленький горбун, к которому они относились как к своему камердинеру.

Облачая свой образ в один из самых невероятных костюмов, Гюго утверждал, что боролся за императора в стенах школы и нападал на любого, кто называл его «Наполевор»^[115]. Тем не менее из первоначальных 500 в Мадриде остались всего 24 ученика, и практически все они были из профранцузски настроенных семей^[116]. Сами монахи из осторожности старались рисковать лишь своими принципами. Самый злой испанец доставлял главным образом эстетические неудобства; то был ленивый мальчишка с громадными, похожими на лопаты руками, по фамилии Элеспуру, который вновь появляется, под той же фамилией, в третьем акте драмы «Кромвель» (1827) в роли придворного шута^[117].

Сильнее всего школьная жизнь в Мадриде повлияла на братьев там, где личная, семейная жизнь смыкается с политикой. В коллеже принято было называть не имена, а титулы – маркиз, граф и т. д. Какое отличие от мрачного класса Ларивьера на улице Сен-Жак! Первые впечатления Гюго о себе в глазах общества едва ли наградили его скромностью. Виктор и Эжен Гюго успевали по латыни лучше, чем остальные, монахи боялись наказывать их, у них был брат, который носил меч, их отец был другом короля, их мать жила во дворце, а соученики обращались к ним «виконт».

Восемь месяцев домашних невзгод и общественного величия в оккупированной Испании можно рассматривать как начало странных отношений Гюго с собственным именем. «Имя – это характер», – как объявляет он в «Отверженных» (*Les Misérables*)^[118], но какое имя казалось настоящим десятилетнему виконту Гюго? Он купался в лучах отцовской славы; он привык, что к его матери обращались «госпожа генеральша». Но в путешествии она именovala себя «госпожой Требюше», иногда добавляя к девичьей фамилии название крошечного теткиного имения в Бретани: Требюше де ла Ренодьере. Тем самым Софи полностью отвергала генерала и в семейном, и в общественном, и в географическом смысле. Зато имя Виктора стало воспоминанием о человеке с улицы Фельянтинок. При таких вехах с самого начала жизни не приходится удивляться тому, что карта «Гюголенда», страны Гюго, становилась все сложнее и рельефнее.

Если бы наполеоновская империя просуществовала дольше, возможно, писатель, которого мы знаем как Виктора Гюго, стал бы испанским поэтом по имени граф Сигуэнца. «Мои труды были бы написаны на языке, на котором не так много говорят, и, таким образом, возымели бы не такое мощное действие»^[119]. Привилегия выжившего – писать о прошлом с юмором. В этом смысле падение Наполеона I и позже Наполеона III вымостило Виктору Гюго путь поверх Второй империи.

Весной 1812 года французы хлынули из Испании тысячами. Веллингтон наступал на Мадрид. Госпоже «Хугау» было выдано дорожное предписание, и она воссоединилась с Виктором и Эженом. Абель оставался с отцом. В тринадцать лет он считался солдатом – что больше говорит об отчаянном положении французов, чем о военной доблести самого Абеля. Сотни семей уже покинули столицу пешком и умерли от жажды на равнинах Старой Кастилии, где колодцы отравили конским навозом и трупами животных.

Воспоминания Гюго об обратном пути отрывочны и внушают ужас^[120]. Они мрачной тенью нависают над всей его последующей жизнью, хотя эту тень легко не заметить: странные, сюрреалистические происшествия, которые вскоре окажутся почти воображаемой интерлюдией к их парижской жизни.

У ворот Витории они видели прибитые к распятию голову, руки и ноги племянника главаря бандитов. В Бургосе Виктор увидел процессию кающихся грешников с фонарями, которых сопровождал человек, сидевший на осле задом наперед; вскоре его задушили гарротой на главной площади. Бургос, со своей плахой и собором, можно назвать колыбелью для двух маний Гюго: сохранение прошлого и отмена смертной казни. Обе мании связаны с его отцом.

Наконец, испытав огромное облегчение после того, как они пересекли границу у Сен-Жан-де-Люс, они увидели на постоялом дворе телегу.

«Это был передок телеги, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и бревен. Передок состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжелое дышло; ось поддерживала два огромных колеса». Почему на таком долгом и богатом событиями пути ему запомнилось нечто столь незначительное? Вот тайна, которую мифологизированный разум Гюго старается избавить от неизбежной банальности в «Отверженных»: «Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная плененного Голиафа... и что-то в ней напоминало о каторге, но каторге циклопической и сверхчеловеческой; казалось, она была снята с какого-то чудовища...

Для чего же этот передок стоял здесь, посреди дороги? Во-первых, для того, чтобы загордить ее, а во-вторых, чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого иных оснований»^[121].

В апреле 1812 года семья без отца вернулась в переулок Фельянтинок. Там ничего не изменилось. «Господин де Курлянде» не вернулся. Следующие два года в жизни Виктора Гюго

кажутся монотонными, спокойными и почти нормальными: уроки у Ларивьера, расширенная программа в публичной читальне, *cabinet de lecture*, игры в саду с Аделью Фуше, которая напоминала ему Пепиту. Софи Гюго часто ходила одна куда-то в гости, а к кому – не говорила. Единственным эхом испанских событий стала все более острая нехватка денег. Жозеф Бонапарт распорядился переводить Софи часть жалованья генерала Гюго, но платежи поступали нерегулярно. Почти вся французская армия теперь состояла из новобранцев, которым вообще ничего не платили.

Только однажды в тот тихий период, когда «Великая армия» покидала сожженную Москву, но перед тем, как французам предстояло проделать тысячу миль в русскую зиму, детство Гюго соприкоснулось с важными историческими событиями. Как-то в октябре 1812 года шел моросящий дождь. Виктор и Эжен играли у церкви Сен-Жак-Дю-О-Па, напротив школы Ларивьера, и вдруг увидели листовку на одной из колонн. Несколько военных, которые в отсутствие императора попытались свергнуть его, приговорили к смертной казни. Братьев поразила фамилия одного из приговоренных заговорщиков: Сулье («Башмак»). Остальные фамилии – Мале, Гидадь, Лагори – ничего им не говорили.

Как они выяснили позже, казнь положила конец деятельности их матери в роли заговорщицы. 23 октября генерал Мале доказал, что империя – перевернутая с ног на голову пирамида, которая ненадежно покоится на одном человеке. Поддельный документ убедил тюремщиков Мале в том, что Наполеон погиб в России. Лагори освободили, а затем с его помощью арестовали двух правительственных министров и начальника полиции. Полдня любовник госпожи Гюго был министром полиции. Когда обман раскрылся, против заговорщиков приняли быстрые и крайние меры – возможно, следователи боялись гнева Наполеона, который обрушился бы на их головы после его возвращения. Лагори расстрелял взвод солдат на окраине Парижа. Во все парижские лавки, где торговали подержанной одеждой, разослали агентов в штатском, которым приказали скупить всю военную форму, чтобы ничего подобного не повторилось.

Позже, в семьдесят три года, Гюго утверждал, что в тот исторический момент он был на стороне матери. «Был вечер; началось отступление из Москвы, и на империю упала „ужасная тень“. Мать взяла Виктора за руку и указала на большой белый плакат: „Лагори, – сказала моя мать. – Запомни эту фамилию. – Потом она добавила: – Это твой крестный“. Так в моем детстве появился призрак»^[122].

Такие вымышленные истории, основанные на пересказе с чужих слов, красноречиво доказывают, что их автор грешит против истины. Он ощущал свою оторванность от мира родителей и пытался очертить границы своего детского бытия, опираясь на известные исторические факты.

В то время единственным крупным событием, повлиявшим на жизнь Гюго, стало разрастание Парижа. Скоро город поглотит часть сада в переулке Фельянтинок. Выросла арендная плата. В конце 1813 года семья переехала в скромный отель на улице Вьейль-Тюильри (теперь это дом номер 42 по улице Шерш-Миди). Там же жила семья Фуше. В крошечном дворике места хватало лишь для нескольких цветов. Софи была подавлена; она страдала от клаустрофобии. Мальчики как будто угадывали надвигающуюся анархию, а может, неосознанно выражали протест против более стесненных обстоятельств. Их игры стали более жестокими. Софи Гюго решила строже приглядывать за сыновьями. В письме к Абелю в сентябре 1813 года Софи демонстрирует свой стальной характер. Позже между ней и Виктором установится особенно тесная связь; всю жизнь его дружеские отношения и романы будут окрашены некоторой высокопарностью. Он как будто считал, что дружба – своего рода епитимья, а любовь – во многом абстрактное понятие.

«Не стану бранить тебя, мой милый Абель, за то, что не написал мне раньше. Твое молчание я объясняю скорее безрассудством и неумением понять мою неизбежную тревогу, а вовсе

не отсутствием любви с твоей стороны. И все же, мой милый, постарайся, чтобы впредь такое не повторялось.

Сомневаюсь, что отец запретил тебе писать, но если так... твой долг не повиноваться ему, как не повиновались бы мне твои братья, если бы я вдруг решила попрасть священные законы Природы и запретила им писать отцу... Будем надеяться, мой милый Абель, на лучшие времена и, превыше всего, на то, что наши общие невзгоды послужат тебе уроком. Теперь ты понимаешь, куда способны завести беспринципность и потакание своим страстям? Какое предназначение погубил твой отец!.. Прискорбно сознавать, что отец грабит самого себя и свою семью ради такой женщины!»^[123]

Абель вернулся домой вовремя – он стал свидетелем агонии империи. В столицу прибывали бодрые бюллетени, в которых писали о последнем расположении войск. Впервые солдаты наполеоновской армии сражались на французской территории. Некоторые из «победоносных» полков, названных в бюллетенях, состояли из одних офицеров. У них не было солдат, которыми они могли командовать. Некоторые полки вовсе прекратили свое существование.

29 марта 1814 года семья Гюго проснулась от грохота битвы у ворот Парижа. Армии европейских союзников наводнили страну, как болезнь, которая захватывает измученное тело. На следующий день прискакали внушавшие всем ужас казаки. Некоторых разместили на постой в доме, где жили Гюго. Казаки, испытывавшие благоговение при виде великого города, оказались кроткими, как овечки.

Наполеон немедленно упал в глазах мальчиков, что успешно доказывает: вопреки общепринятому взгляду на двухэтапное становление поэта, – пылкий монархизм, за которым следовало не менее пылкое республиканство, – политический фон его детских лет был бурным морем постоянно меняющихся и противоречащих друг другу убеждений.

Софи Гюго решила воспользоваться тем, что считала своим преимуществом: теперь ее мужа официально признают злодеем, приспешником побежденного тирана Наполеона. Она помчалась покупать белое платье, соломенную шляпку и туберозы (настоящие королевские лилии были слишком большими, и их нельзя было приколоть к платью). Теперь она стремилась получить от злодея финансовую помощь и обеспечить будущее детей. В мае она, прихватив с собой Абеля в качестве защитника, отправилась в Тионвиль, в 12 милях от границы с Германией и Люксембургом. Генерал Гюго защищал город с января; ему удавалось держаться даже после апрельского отречения Наполеона.

Выдержавший многомесячную осаду генерал Гюго обновил свои стратегические навыки, и настроение у него было приподнятым. Он отказался отослать свою «наложницу» и отвел жене и сыну комнату рядом со своей спальней, где запирался с любовницей. Однажды ночью он угрожал Софи хлыстом, выгнал ее на улицу – в общем, вел себя так, будто осада перенеслась в его дом. Одновременно он предпринял ловкий обходной маневр и велел опечатать «дом демона на улице Вьейль-Тюильри». Своим доверенным лицом в Париже он назначил свою сестру. Вернувшись, Софи обнаружила, что по суду ее лишили всего, а двух младших сыновей практически похитила сестра генерала госпожа Мартен, которая нашла мальчиков дерзкими и распушенными.

На время Софи удалось вернуть и дом и детей, но в сентябре генерал нагрянул в Париж и вывез все белье – «10 рубашек, 24 пары чулок, 19 кембриковых носовых платков для нужд истицы, все серебро, позолоченный лорнет, и, по мнению истицы, передал все имущество в руки своей наложницы»^[124]. Прием грязный, зато действенный. Затем ему удалось вернуть себе опеку над сыновьями. 9 января 1815 года он писал им из своей временной парижской квартиры в ответ на пожелания счастливого Нового года:

«Милые мои, спасибо за теплые слова. Мои же пожелания, как и действия, направлены главным образом на то, чтобы вы были счастливы.

Скоро вас мне вернут, и вы убедитесь, что я неустанно пекусь о завершении вашего образования»^[125].

То, чего они больше всего боялись... Месяц спустя мальчиков «заточили» в школу-интернат на улице Сен-Маргерит, где Виктор Гюго после гибели империи ощутил себя опущенным орлом, у которого выдрали перья и вымели из класса вместе с мусором^[126].

6 марта 1815 года, через месяц после того, как Виктора и Эжена поместили в пансион Кордые, «Журналь де Деба» сообщил, что «трус» Бонапарт, пивший кровь нескольких поколений, бежал из ссылки на острове Эльба и, собрав пеструю банду иностранцев, осмелился ступить на французскую землю. «Вся Франция единодушно восклицает: „Смерть тирану; да здравствует король!“»^[127]

Через две недели та же газета сообщит о «чудесном возвращении» Наполеона и о реставрации свободы, чести и добродетели. Крестьяне, «пьяные от радости», толпами стекались, чтобы посмотреть, как он проходит через их земли, а закаленные в боях солдаты, не стеснясь, плакали на улицах. Только некоторые «жалкие памфлеты» принижали торжество героя. «Сейчас... улицы, площади, бульвары и набережные заполнили бесчисленные толпы. Повсюду, от Фонтенбло до Парижа, слышны крики: „Да здравствует император!“»

Через сто дней после высадки во Фрежюсе телеграф принес весть об ужасной катастрофе на севере. То была битва, которую Гюго называет «поворотным пунктом девятнадцатого века», когда «мыслители» возобладали над «бойцами»^[128]. Название места, где Наполеон проиграл свою последнюю битву, «первый неподатливый сук под ударом его топора», дано в «Отверженных» с явным намеком на его этимологическую значимость: небольшая ферма с колодцем возле маленькой деревни Ватерлоо называлась Гугомон (или Гюгомон)...

«На косяках ворот оставались следы окровавленных рук... Рушатся стены, падают камни, стонут брешы; проломы похожи на раны; склонившиеся и дрожащие деревья будто селятся бежать отсюда»^[129].

С высоты будущего многие высокомерно насмеяются над теми, кто предпочел сохранить жизнь и работу, присягнув на верность сначала королю, затем, во время Ста дней, – Наполеону, а после Ватерлоо – снова королю.

Генерал Гюго, кадровый военный, в апреле 1814 года письменно поблагодарил Людовика XVIII. Но его письмо едва ли можно назвать поворотом на 180 градусов: он объявлял свою верность «родине» и – интересный выбор глагола – «клятве, которая приковывает нас к королю Людовику XVIII».

Отец Гюго вел себя как герой. Он последним из военачальников оставил Мадрид. Во время катастрофического отступления из Испании он собирался похитить Веллингтона (его трусливые сослуживцы отказались помогать ему в осуществлении дерзкого плана). В конце империи он спас для Франции Тионвиль и не сдался даже после того, как окончилась война и начались репрессии роялистов, получившие название «белого террора». Весной 1815 года, по возвращении Наполеона в Париж, его ждал настоящий триумф. Когда генерала снова отправили защищать Тионвиль от пруссаков, в местном театре его встретили овацией. Когда в 1871 году Виктор Гюго посетил Тионвиль, оказалось, что его отца почитают там чуть ли не как местного святого^[130]. Генерал Гюго приказал заполнить ров водой, казнил дезертиров, не обращал внимания на вести из внешнего мира и удерживал город до 13 ноября 1815 года. К тому времени цивилизация еще шагнула вперед и нескольких наполеоновских военачальников расстреляли как предателей.

Героизм позволил генералу Гюго сыграть особую роль. Можно сказать, что он стал небольшой, но окончательной точкой в истории наполеоновской империи. Невольно вспоминаешь, как сопротивлялся впоследствии его сын империи Наполеона III. Знаменитые слова, которые Виктор Гюго отнес к политическим ссыльным Второй империи, легко применить к генералу Гюго в 1815 году: «И если останется только один, им буду я!»

Первое письменное свидетельство отношения Гюго к поражению Наполеона и родного отца датируется концом того же года. Вдохновленный монархистской пропагандой, он написал политическую песню. Названная *Vive le Roi! Vive la France!* («Да здравствует король! Да здравствует Франция!»), она бьет наотмашь уже в первой строке: «Корсика повергнута в прах!» Но даже в таких традиционных стихах, почти целиком собранных из клише, заметны личные впечатления и слышны отзвуки более исповедальной формы литературы:

Темная и ужасная печаль
Правила нашими удрученными сердцами...
Вернись, черный демон войны,
В ад, который тебя изверг...
Маршал-предатель Нея
Отправится навстречу своей смерти.
Дрожите, войско цареубийц,
Якобинцы, такова ваша судьба.

Когда Гюго писал свою песню, судьба предателя, маршала Нея, вполне могла постичь и генерала Гюго. Младший сын генерала практически подписывал отцу смертный приговор: «Тиран, тебе нет исхода, / Твой глупый гнев на нас».

Затем он с высоты своих тринадцати лет размышляет о грехах своего детства:

О ты, кому бесстыдная слава
Так долго застила глаза,
Забудь свой презренный страх
И учись любить короля!

Очевидно, желание занять определенную позицию, но видна и попытка убедить себя в том, что его мать-монархистка была с самого начала права. Отныне с путаницей покончено. Его поведение в школе свидетельствовало об обратном. В 1815 году школьники играли не в ковбоев и индейцев, а в Наполеона против остального мира. Вождем «всего цивилизованного мира» чаще всего становился не по годам властный и авторитетный Виктор Гюго.

Его отец побывал и на стороне победителей, и на стороне побежденных. Ему довелось побывать и на вершинах власти, и скрываться от правосудия. Однако с родными детьми он по-прежнему вел себя как тиран. Сыновья не могли ни до конца отречься от него, ни полностью отождествить себя с ним. Такой противоречивый подход противостоит всякому упрощению – и самого Гюго, и его творчества. Его детство было не мелодрамой, но цепочкой противоречивых, хотя и достоверных, фактов. После Испании любое упрощение кажется одновременно невозможным и необходимым. Как отыскать следы божественной справедливости в победах и поражениях Наполеона, этой «пародии на всемогущего Бога»^[131]? Кроме того, враждующие родители всегда предлагали противоположные точки зрения. При внимательном рассмотрении оказывается, что противоречиям в творчестве Гюго свойственна та же холодная дисциплина, что и «Бедствиям войны» Гойи. Можно вычленивать те же отдельные куски действительности, которые наводят на мысль о разных сторонах правды.

После многочисленных приключений в Париже и других местах наполеоновской империи тринадцатилетний виконт получил прочный фундамент для формирования характера, но в то время его политические принципы выражались лишь в виде домашней пропаганды. Чудовище из сада в переулке Фельянтинок никуда не делось – оно пряталось не только на дне колодца, но и в мозгу поэта. Разгадку его метаний следует искать в первоначальной слепоте, пылком любопытстве к событиям, которые впоследствии были вытеснены в подсознание. На

первый взгляд случайная мудрость его зрелых трудов многим обязана тому бесконечному терпению, с каким Гюго решал нерешаемые загадки, – он называет их главным преимуществом несчастливого детства^[132].

Если вспомнить, сколько в его прошлом было лжи и искажений, можно сделать вывод: Гюго непременно должен был прийти к пониманию Вселенной задолго до того, как он осознал обстоятельства собственного рождения и воспитания; кроме того, как ни парадоксально, его творчество закладывает психологический фундамент к поздним эмпирическим открытиям. Вселенная в мозгу Гюго формируется вокруг вращающегося центра, который наука называет черной дырой: «Ужасное черное солнце, излучающее мрак»^[133].

Глава 4. Метромания (1815–1818)

Реставрация, по мнению Гюго, похожа на реставрацию картины^[134]. С нее соскребают недавнее прошлое, под которым обнаруживается более древний слой. Вернувшись из ссылки в Англии, Людовик XVIII словно отменил предыдущие двадцать лет и начал датировать свое правление со смерти Людовика XVII в 1795 году. Но ущерб уже был причинен. У Франции появилась Хартия 1814 года, признававшая принципы свободы и равенства. По мнению роялистов-экстремистов, которых называли «ультрас», то был опасный прецедент. «Ультрас» удалось привлечь на свою сторону самого молодого великого поэта Франции, Виктора Мари Гюго.

Почти сразу после того, как Наполеон отбыл на остров Святой Елены, дела пошли в гору – особенно у печатников, которые изготавливали вывески: Париж спешно переделывал собственную историю. Площадь Согласия, бывшая площадь Революции, стала площадью Людовика XV. На месте площади Единства, которую позже переименовали в площадь Вогезов, снова появилась Королевская площадь. С памятников стирали заглавные буквы «Н». С триумфальной арки перед Лувром сняли четырех коней и вернули в Венецию, откуда Бонапарт их украл.

В среде, в которой вращалась Софи Гюго, генерала Гюго и его собратьев-«республиканцев» называли не иначе как «луарскими разбойниками» (по названию последней позиции побежденной наполеоновской армии). Имя главаря намеренно произносилось «Буонапарте», чтобы оно звучало «по-иностранному». В 1815 году один молодой англичанин, виконт Палмерстон, пересек Ла-Манш и записал неувидительный факт: худшее, что можно сказать французу, – «грязный сброд, побежденный народ»^[135]. Впрочем, многие французы считали побежденным только «корсиканское чудовище». Пруссак, ставшие лагерем на Елисейских Полях, и казаки, чьи кони щипали траву в Тюильри, назывались «союзниками». В консервативных кругах вошел в моду английский акцент. На время возвращение эмигрантов в напудренных париках затмило непреложный факт: в обществе произошли необратимые перемены. Империя воздвигла административный и социальный фундамент идеалов 1789 года и, воплощая идеалы в жизнь, произвела на свет поколение стариков и сирот.

Три десятилетия спустя Гюго прочел в одной английской газете, что в Гуль прибыли корабли, нагруженные скелетами, выкопанными с полей сражения Наполеона. Кости собирались размолоть и удобрить ими поля. «Окончательный побочный продукт наполеоновских побед: питание английских коров»^[136]. За время, прошедшее после Великой французской революции, погибло чуть меньше миллиона французов, причем половина из них не достигла и двадцативосьмилетнего возраста.

В 1815 году кумиром Гюго был Шатобриан. Тогда сорокасемилетний классик французской литературы Шатобриан начинал свою политическую карьеру сторонником конституционной монархии. Такой же умеренной линии придерживалась и Софи Гюго. Единство взглядов позволяло и ей, и ее сыновьям восхищаться странно чувственными, меланхолическими отрывками из «Гения христианства», «Аталой» и «Рене». Скоро эти произведения начнут отождествлять с новым течением в искусстве под названием «романтизм», от которого отречется его автор. Шатобриан доказал свой талант к острым, но дипломатичным символам, когда в составе официальной делегации эксгумировал останки Марии-Антуанетты из общей могилы. Он уверял, что опознал ее в груде скелетов по ее «улыбке».

Тем временем младший сын одного из «луарских разбойников» искал правдоподобное объяснение тому, что случилось с Францией и с его семьей. Виктор Гюго заполнял записные книжки сотнями стихотворных строк, царапая «надписи на стенах отхожих мест истории»^[137].

Первые три с половиной года Реставрации Виктор и Эжен провели в пансионе Кордье, затиснутом в узкую улочку неподалеку от Сен-Жермен-де-Пре^[138]. Тот квартал был темным и шумным, самым густонаселенным в Париже. Там жили старьевщики и торговцы металличе-

ским ломом. В одном конце улицы помещалась тюрьма, в другом, напротив улицы Эгу (которую называли «улицей Сточной канавы», хотя именно там канавы были перекрыты), над воротами был резной каменный дракон, давший название переулку: переулок Дракона.

Когда Гюго заново посетил свою школу во всем блеске славы в возрасте сорока четырех лет, ученики и учителя наперебой цитировали воспоминания о детстве поэта. Если верить школьной легенде, он сидел, бывало, как Будда, под школьным деревом (грецким орехом) и писал свои первые стихи. Грецкий орех был единственной растительностью на территории пансиона, хотя какой-то оптимист разрисовал стены внутреннего двора, изобразив парк, беседки, увитые виноградом, и фонтаны. Сюда-то отец заточил своих сыновей с 13 февраля 1815 по 8 сентября 1818 года. Запретив мальчикам видаться с матерью, он поручил их заботам старого учителя по фамилии Кордье, который вечно нюхал табак и проявлял странные вкусы в одежде: Кордье носил польскую конфедератку с ушами и пальто на меху, потому что считал, что в таком виде он похож на Жан-Жака Руссо. Впрочем, подобное свободомыслие в гардеробе не отразилось на методах его воспитания: металлической табакеркой он вбивал самые важные постулаты в голову учеников.

Запомнить расписание уроков оказалось нетрудно. Вот что братья Гюго изучали на втором году (тогда почти все занятия проводились в трех четвертях мили от пансиона, в коллеже Людовика Великого). Генерал хотел, чтобы его мальчики поступили в Политехническую школу, а оттуда – в военную академию. Поэтому основной упор делался на математику:

8.00: математика и алгебра.

12.30: обед в пансионе, за которым следует черчение.

2.00—5.00: философия.

6.00–10.00: математика и домашние задания.

Свободное время посвящалось обязательным прогулкам. Выходные состояли из «умеренной работы» и более длительных и более частых прогулок. «Виконт Гюго» пал жертвой французской системы образования.

Несмотря на многочисленные события, Гюго прекрасно помнил пансион Кордье. Его рассказы отличаются поразительной точностью. Символично, что один из его одноклассников впоследствии стал префектом полиции, а другой, мальчик по фамилии Жоли, сел в тюрьму: первый угрожал свободе Гюго, второй – его кошелек. Одна деталь свидетельствует о том, что взгляды Гюго тоже пережили реставрацию. Спустя какое-то время отец в его воспоминаниях становится героем. Генерал распорядился, чтобы его сыновья ночевали не в дортуаре, а в отдельной комнате. В результате Виктор и Эжен делили комнату с будущим префектом полиции. Впрочем, согласно статистике, ни о каком «особом обращении» речь не шла: в августе 1817 года в пансионе Кордье было всего четыре пансионера и двенадцать приходящих учеников. Если общая спальня и существовала, она предоставляла даже большее уединение, чем отдельная комната.

Генерал Гюго не имел ни желания, ни возможностей платить за роскошь. Он вышел в отставку, как он надеялся – временно, и поселился со своей любовницей в Блуа, в белом домике на берегу Луары. Не ведая о потребностях мальчиков-подростков, он начал подозревать, что сыновья, по наущению Софи, нарочно портят свою одежду. Сестре генерала, жившей в Париже, велели «помечать дыры, и если они не будут одеты прилично, пусть пеняют на себя»^[139].

Эжен и Виктор ответили с огромным достоинством. Письмо писал Эжен; внизу подписались оба. От матери они узнали, как важно демонстрировать нравственную стойкость перед лицом вспыльчивого генерала. Они доводили до отчаяния сестру генерала, упорно отказываясь называть ее «тетей»; впрочем, позже она завещала почти все свои деньги Абелью и Виктору, что наводит на мысль о том, что их отношения несколько улучшились. Мальчики жаловались, что тетка удерживает деньги, которые нужны им для заточки ножей, покупки циркулей и прочего, для оплаты переплетных работ (книги продавались в бумажных обложках) и церковных

сборов^[140] (последнее, судя по всему, – не признак набожности, а желание уязвить старого атеиста: мысль о том, что генерал Гюго дает деньги на церковь...). Став крупными специалистами в домашних войнах, мальчики пытались вбить клин между генералом и его сестрой: «Вы говорили, что она будет заботиться о наших нуждах. Несомненно, вы дали ей соответствующие распоряжения. Мы не можем поверить, будто вы приказали обращаться с вашими сыновьями так, как обращается с нами она. Стоит нам о чем-то попросить ее, хотя бы о новых ботинках, как она тут же раздражается упреками... Если мы пытаемся доказать свою правоту, мы вынуждены выслушивать поток грубых оскорблений, а если мы хотим их избежать, нас обзывают глупыми и упрямцами... У нас есть все основания полагать, что она не слишком честна с вами»^[141].

Сам генерал удостоился еще низшей нравственной оценки. В «открытом письме» (то есть, вероятно, записке, переданной через г-на Кордье) он ссылается на их «несчастную мать». «Как бы вы поступили, – спрашивают в ответ сыновья, – в те дни, когда близость с ней дарила вам счастье? Что бы вы сделали с тем, кто осмелился отзываться о ней в таких выражениях? Она была и остается той же, что и прежде, и мы до сих пор думаем о ней так, как вы думали о ней тогда»^[142]. Стиль письма и выраженные в нем чувства напоминают изысканность «старого режима».

Несомненно, с мальчиками обращались плохо, их отец делал вид, будто до него доходят не все их письма. Возможно, генерал обманывал сыновей, говоря, что ему урезали жалованье, и отказывался оплачивать их дальнейшее образование в Политехнической школе. Кроме того, генерал Гюго стал испытательным полигоном для одного из величайших эмоциональных литературных манипуляторов; Виктор и Эжен с успехом обернули положение к своей нравственной выгоде. Обстоятельства пока соглашались с совестью Гюго.

Когда Гюго жаловался, что Бог или сверхъестественное существо превратило человеческую жизнь в хаос, поместив старость после детства^[143], он, возможно, считал себя исключением из общего правила. «Анфан террибль» французских романтиков в пятнадцать лет был практически взрослым. Всякий раз, как в пансионе Кордье возникали серьезные дисциплинарные проблемы, учителя взывали к его власти. Вскоре после прибытия Виктор и Эжен поделили пансионеров на два «народа». Подданных Виктора оказалось больше. Он сидел во дворе на импровизированном троне, наказывал обидчиков и награждал верных медалями, сделанными из золотой и серебряной бумаги и сиреневой ленты. (Виктор заранее выяснил, что лиловый цвет не используется в официальных церемониях.) Иногда, устав от школьной пищи, король Виктор посылал приходящего ученика по имени Леон Гатай за итальянским сыром, наполовину в корке, наполовину очищенным. Когда Гатай возвращался, кусок сыра внимательно осматривали. Если Гатай не выполнял все предписания, его били по голеним^[144].

Впоследствии Гатай стал известным наездником, пловцом, стрелком и дуэлянтом. Кроме того, он переложил камин в доме Гюго на Королевской площади. Заметив, что он на целую голову ниже Гатая, Гюго спросил, почему тот никогда не мстил ему. Ответ был очевиден: потому что тогда Гюго не дал бы ему других поручений^[145].

Все похоже на счастливый рассказ о выживании в трудных условиях и предполагает, что мальчики отчасти примирились с отцом – во всяком случае, с одной его ипостасью. Однако всплывает одна деликатная проблема, которую Гюго пытался разрешить всю свою молодость. Он находился в сложном положении. Ему приходилось бунтовать против иконоборца, человека, боровшегося с предрассудками. Ему приходилось вести себя благороднее и дисциплинированнее, чем генерал, чтобы иметь возможность смотреть на отца сверху вниз, хотя в то время внизу находился не отец, а он, и отстаивать свою независимость. С другой стороны, понятия о справедливости, внушенные матерью, включали безусловное почтение к отцу. Но можно ли почтительно относиться к поколению отцов, обезглавившему короля и, в воображении романтиков, убившему Бога?

Гнев, который невозможно было излить на отца, обрушивался на школьную математику – «ужасный ряд иксов, игреков», к которому его приковали по распоряжению генерала^[146]. Согласно архивам коллежа Людовика Великого, Гюго получал отличные оценки по философии, геометрии и физике, но ни разу не отличился в математике^[147], чему, похоже, втайне радовался. В сильно пожилом возрасте он хвастался редкими способностями к математике, которые позволяли ему получить верные ответы способами, неизвестными его учителям; он выводил решения «на редкость изящно и симметрично»^[148]. Однажды он подсчитал, «до сотых долей», сколько понадобится лошадей, чтобы сдвинуть Землю с орбиты^[149]. В пансионе Кордье именно это его умение приводить четкие и красивые доказательства вызывало стойкое неприятие. Математические формулы были «гидрами, каждая со своей ужасной тайной, которые сидели на корточках на вялом пьедестале неясности». Теоремы – еще один яркий образ, с помощью которого Гюго связывал свой разум с объективной истиной, – «были привязаны свинцовыми грузами к ногам мрачного ныряльщика»^[150].

Двусмысленные метафоры свидетельствуют о своего рода умственной аллергии к миру фактов, где «в безжалостной атмосфере правит доказательство». По натуре он предпочитал блуждать в чаще образов, которые в конечном счете отклоняли решающие доказательства. Огромное любопытство соединялось в нем с огромным желанием не знать. Приятные воспоминания о математике связаны лишь с одним учителем из коллежа Людовика Великого, который, проведя час в расчетах, дошел до знака бесконечности и остановился: ∞ . Гюго называет этот символ очками, которые сидят на носу мыслителя^[151]. Они прекрасно подходят для взгляда вдаль, но для того, что находится рядом, – все равно что шоры.

К счастью, в самом начале школьной жизни Гюго обнаружил прекрасное орудие защиты: французское стихосложение. Оно стало его самым большим достижением в образовании; он уверял, что этому предмету ему не надо было учиться. Оно просто вошло в его мозг, со всеми своими правилами^[152].

Считать подобное утверждение хвастовством (подобно критику Гюставу Планшу, который заявил: Гюго наверняка счел бы, что открыл евклидовы пропорции «интуитивно»^[153]) – значит упустить прекрасную возможность понять, в чем заключается истинное своеобразие Гюго, видеть в нем своего рода литературного функционера, который режет собственные мысли на двенадцатисложные куски просто потому, что все поэты до него поступали так же.

Доказательства, которые можно найти в творчестве Гюго, заключаются в том, что на первый взгляд деспотическая структура французской поэзии – вовсе не искусственная конструкция, созданная злобными педантами для того, чтобы помешать свободному выражению мыслей, но спонтанное порождение коллективного бессознательного. Структура французского стиха соответствует мыслительным структурам и даже, если верить более честолобивому взгляду, структурам в материальной Вселенной. В наши дни подобные мысли чаще высказываются применительно к блюзам и регги. Например, приписать двенадцатистрочный александрийский стих автору свода правил – все равно что попытаться найти владельца авторских прав на древнегреческие мифы^[154].

Если бы Гюго излагал свое чутье в теоретической манере Кольриджа или Малларме, он обеспечил бы себе место в рядах интеллектуальных пророков модернизма. Но волшебный лес в одах Гюго прячется за деревьями нравоучительных конструкций и за его огромным эго. Ему редко приходило в голову задерживаться на «очевидном»: что у каждого гласного звука свой цвет, что слова – живые существа со сложным обликом, а словарные статьи – всего лишь натяжки. Зато вся его жизнь полна замечательно конкретных доказательств таинственной логики стиха. Огромное количество написанных Гюго произведений можно объяснить тем, что уже в 1816 году в пансионе Кордье он складывал во сне александрийские стихи и даже целые стихотворения; утром он записывал их на бумагу. Его повседневная переписка

загромождена обрывками стихов, похожих на обломки воображаемых судов, бросивших якорь в других частях мозга. Более того, Гюго жаловался, что такая произвольная мозговая деятельность ему мешает, как будто это заикание или тик^[155]. В XIX веке такая особенность считалась распространенной психической болезнью, называемой «метроманией». Известно, что из-за нее в заточение попал по крайней мере один человек^[156].

Этим непереводимым особым языком был родной язык Гюго; не обращать внимания на это явление – значит записывать часть его биографии задом наперед. У него уже была форма выражения; перед ним стояла задача найти действительность, которая отвечала бы ей.

Вполне возможно, что «метромания» спасла его от более серьезной формы безумия. Условность и правила французского стихосложения служили официальной гарантией того, что чувства, которые он выражал, неподдельны и в обществе, как во французской просодии, для них найдется место. Вдобавок, налагая на себя ограничения, он значительно увеличивал возможности для своего дисциплинированного бунта, который как будто был единственным ответом отцу.

Сегодня даже странно называть такую деятельность мятежной. Во времена, когда всеобщее образование только начиналось, такой вещи, как зубрежка, не существовало. «Зануда», который посвящает каждый час, когда не спит, учебе, – порождение более демократической эпохи. Сочиняя стихи, какими бы верноподданническими они ни были, Гюго все же бунтовал. Университет, определявший цели и задачи школьного образования, сочинительство не одобрял: «Для учеников шестнадцати и семнадцати лет изучение французского стихосложения... служит лишь опасным отвлекающим средством или бесплодной пыткой»^[157]. Один просвещенный педагог даже опубликовал трактат о стихосложении как своего рода профилактики для юношей-рифмоплетов. Необходимо признать, писал он, что такой порок существует, и, по крайней мере, убедиться в том, что мальчики предаются ему по правилам^[158].

Качество стихов, следовательно, было вопросом вторичным. Во всяком случае, Гюго почти не питал заблуждений по этому поводу, хотя, судя по всему, он никогда не терял надежды стать великим поэтом. Все было вопросом времени и решимости. В пансионе Кордье он столкнулся с другой трудностью. Он очень быстро развивался. Дописав третий акт классической трагедии, действие которой происходило в романтической Скандинавии, он счел первый акт таким невыносимо незрелым, что вынужден был начать все сначала. В одной из трех записных книжек, содержащих его ранние стихи, он сообщал предполагаемому читателю: все, что не было вычеркнуто, можно спокойно читать, а затем вычеркнул почти всю записную книжку. Позже он отложил яйцо с зародышем внутри и назвал содержание «мусором, который я написал до того, как родился» – яркий пример его знаменитой ложной скромности: находящийся на свободном выгуле поэт исследовал обширную антологию современных ему поэтических течений. Его стихи настолько злободневны, что можно предположить: судя по всему, он подпитывался извне с помощью брата Абея, который к тому времени поступил на гражданскую службу и завел нескольких друзей в литературной среде.

Иногда сочиняя по тридцать безупречных строк за ночь, Гюго писал романсы (эквивалент современных текстов к поп-музыке), подражания Оссиану – бушующие потоки, хищные птицы, бард с диким взором и взъерошенными волосами, который подводит свой «хрупкий челн» к готическим крепостям. Он высмеивал современные ему эпические поэмы, в которых стиль Гомера применяли к таким темам, как садоводство и огородничество: «Пою эндивий, зреющий в соке ясных вод... Извилистые очертания огромного огурца». Пребывая еще в том возрасте, когда знаменитые изобретения служат источником патриотической гордости, он приходил в восторг от «мощной груди, раздутой хрупким воздухом» (воздушного шара) и «полushарий, охраняющих бока огромных печей» (пароход). Поэт, который впоследствии гордился тем, что подарил место в словаре «отверженному» слову «дерьмо» (*merde*), похоже, еще в юности понял: нежелание классической поэзии называть лопату лопатой, каким бы нелепым оно

ни было, имеет и свои достоинства – такой стиль защищает истину более яркую и мощную, чем если бы ее описали математически точно.

Кроме того, Гюго пробовал перо в басне – жанре, который через сто пятьдесят лет после Лафонтена был еще широко распространен. Басня, озаглавленная «Жадность и зависть» (*L'Avarice et l'Envie*), – одно из малоизвестных произведений Гюго, которое хорошо запоминается вместе с его тончайшими аллегориями. Жадность и Зависть встречаются Желание, которое обещает: первый, кто заговорит, получит все, что хочет, а второму достанется вдвое больше. Зависть немного думает и говорит: «Выбей мне один глаз»^[159].

Эта маленькая басня позволяет мельком заглянуть в беспощадно изобретательный ум мальчика, верховодившего в пансионе Кордье. Будь в басне другие персонажи, она могла бы служить аллегорией героического самопожертвования. В том же виде, в каком она была написана, басня составляет резкий комментарий к идеалу военной славы, на котором строил свою самооценку генерал Гюго.

Другие стихи больше соответствовали заботам школьника. Строки «на разбитом карнизе» служат самым ранним во французской поэзии описанием игры в футбол^[160]. Также достойны упоминания некоторые образцы крошечного поджанра: загадки, ответом к которым служит «пук», понятие, для которого во французском языке есть два слова. В одном Гюго мудро скрывает слово *vesse*, пряча рифму к слову *esse*. Такой византийской виртуозностью гордился бы Малларме. Во Франции эпохи Реставрации это считалось просто глупостью. Может быть, Гюго думал о себе, когда в одной песне, сочиненной в феврале 1818 года, писал:

Многие великие поэты
Часто похожи на жирафов:
Какими великими они кажутся спереди,
Какими маленькими сзади!^[161]

В юношеских произведениях Гюго угадывается удивительный профессионализм, из-за которого некоторые критики заподозрили его в том, что он переписывал стихи других поэтов, – правда, обнаружить плагиат так и не удалось. Его александрийские стихи уже тогда отличались великолепной звучностью, из-за чего их почти невозможно читать про себя или сидя. Перед нами поэт в поисках контекста – в идеале, огромной толпы, которая разражается радостными восклицаниями в конце каждой строфы. Сам Гюго сравнивал свой стиль с дымящейся вулканической лавой, успевшей отвердеть^[162]. В пятнадцать лет вулкан с равным удовольствием извергал трогательную фантазию в стиле Расина под названием «Отец оплакивает гибель сына» и небольшое произведение о ночных горшках.

На поверхности все казалось ясным: отец, если верить еще одной «Элегии», был посредником «неумолимой Судьбы», разлучившей его со «святой» матерью. Единственным противоречием служит то, что «искренность» зависела от благоразумного применения риторических приемов: «Эта элегия отнимает два часа труда... Почему разум так скупое говорит о том, что так глубоко чувствует сердце?» Вот дилемма исповедального поэта:

Если, чтобы стать хорошим поэтом,
Нужно быть полным своей темой,
Могу ли я быть полнее, чем я есть,
Если тема – я сам?^[163]

Такой механический формализм, который как будто лишает стихи эмоциональности, собственно послужившей поводом для их появления, составлял основную часть замысла. Поэзия служила еще и средством подавления. Слова, записанные на бумаге, можно стереть из

головы; сомнения переходят в уверенность. Тягостные воспоминания можно изменить, а затем вспомнить заново по написанному. Следующие строки из «Прощания с детством» (*Mes Adieux à l'Enfance*) обращены к матери, но их можно с таким же успехом обратить к искусству, занимаясь которым Софи Гюго поощряла сына:

Ты, что поддерживала неверные шаги моего счастливого детства,
Приди и подави пылкое буйство моей ретивой юности.

Этот странный приказ, обращенный к матери, следует читать, не забывая об историческом контексте: возрасте, в котором школьники еще могли признаваться в страстной, бессмертной любви к матери, не боясь насмешек. Но очевидная ссылка на половую зрелость указывает на потенциально катастрофическое устройство ума: «дисциплиной и повиновением, заслонами для сердца и души»^[164]. Поразительно, но, вспоминая детство, Гюго ничего не говорит ни об Италии, ни об Испании. Кажется, все его детство протекало беззаботно в стенах сада в переулке Фельянтинков, где единственным, если верить стихам, намеком на бедствия войны стали опыты с порохом.

Утверждение Гюго, что непослушные школьники – результат нетерпимости учителей, подтвердилось в мае 1817 года, когда директором пансиона Кордье стал профессиональный садист по фамилии Декотт. В ловко составленном язвительном отчете школьного инспектора говорится, что Эммануэль Декотт «полон гордости, тщеславия и энергии» и потому он прекрасно подходит для данного поста^[165].

Новый учитель увидел в Викторе Гюго главную угрозу своему авторитету. Он заслужил себе место в истории литературы тем, что взломал парту Гюго и конфисковал его личный дневник. В дневнике содержалась декларация его политических и литературных взглядов, датированная июлем 1816 года: «Я хочу стать Шатобрианом или ничем» (желание, столь же обычное в 10-е годы XIX века, сколь желание стать Виктором Гюго в 30-е и 40-е годы того же столетия). Кроме того, в дневнике были стихи, которые Декотт, наверное, сравнил со своими рифмованными виршами, посвященными образованию, и подробная характеристика, в конце которой следовал вывод, что Декотт – «мошенник». Гюго обвинили в «неблагодарности» – грехе особенно тяжком, поскольку он получал «заботу и внимание, равных которым не знал ни один другой ученик». В «Рассказе о Викторе Гюго» приводится следующий диалог:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Magnin, 733–734.

2.

Цит. G. Rosa и A. Ubersfeld, см.: Dictionnaire des littératures de langue française (1984).

3.

Cocteau, 28.

4.

OED, цит. E. Saltus и J. Lodwick.

5.

Saintsbury, II, 122.

6.

Les Misérables, IV, 7, 4.

7.

Палмерстон – генералу Лаву, 21 октября 1855 г.: PRO HO 45.

8.

‘[La Civilisation]’, ОС, XII, 608.

9.

Генерал Гюго – Виктору, 10 ноября 1821 г. (CF, I, 215 и примечание 2); Claretie (1904), 106; Cordier, 30; Paul Foucher (1873), 367. См. также R. Escholier, письмо Хансу Хаугу в: Braun, J.Y. Mariotte, директор Муниципального архива Страсбурга, письмо к автору.

10.

Гюго также утверждал, что его зачали на Монтенвере: Stapfer (1905), 190; Baldensperger (1925); Cordier, 270–273.

11.

Эта подробность появляется лишь в официальной версии: Mme Hugo (1863). См.: Родословное древо.

12.

France et Belgique, ОС, XIII, 570, 573.

13.

Quatrevingt-treize, III, 1–7.

14.

Об отце Гюго см.: VHR; Barthou (1926); Guimbaud (1930): измышления, поправленные Bertault (1984). Дед Гюго со стороны отца обычно называется плотником. Однако в свидетельстве о рождении генерала Гюго он называется maître menuisier, т. е. «мастером-плотником», просто потому, что он принадлежал к плотницкому цеху. См.: Bertault, 122.

15.

A. Duruy, 404; Guimbaud (1930), 68.

16.

Littérature et Philosophie Mêlées, OC, XII, 117–118; Les Feuilles d'Automne, Préface; 'Le Droit et la Loi', AP, OC, X, 75; VHR, гл. 1–3; Adèle Hugo, II, 45. См. также косвенно в: Les Misérables, III, 3, 3. Аллюзии в стихах: Châtiments (Suite), OC, XV, 156, Moi Vers, OC, XIV, 315; Les Contemplations, V, 3, часть 2; Les Quatre Vents de l'Esprit, I, 29. Раннее эхо данной легенды см.: Sainte-Beuve (1831). См. также Rabbe и Vapereau.

17.

CF, I, 399–400.

18.

Bertault.

19.

Les Misérables, II, 5, 1.

20.

Les Misérables, V, 2, 3.

21.

О Лагори: Le Barbier.

22.

Guimbaud (1930), 159.

23.

Barthou (1926), 26.

24.

R. Lesclide, 310. Песня не фигурирует в «Napoléon et sa Légende», Histoire de France par les Chansons, V (Barbier, Vernillat).

25.

CF, I, 30–36, 42–44.

26.

'Ce siècle avait deux ans...' Les Feuilles d'Automne.

27.

CF, I, 463, 479, 484; Massin, II, 1371.

28.

VHR, 97.

29.

VHR, 97 и 684.

30.

Возможно, взято из сочинения Эмиля Дешанеля *Physiologie des Écrivains et des Artistes* (Comtois: с. 46). Гюго утверждал, что обязан своим «тройным упрямством» Бретани, Лотарингии и Франш-Конте (ОС, XV, 297).

31.

АР, ОС, X, 633.

32.

27 декабря 1880 г.: АР, 1022.

33.

См.: Metzidakis, 82, № 9; Feller, 150–167; Ср. Corr., III, 268: «Я первым использовал термин „Соединенные Штаты Европы“. См. АР, ОС, X, 275. На самом деле он впервые употребил это выражение на Парижской мирной конференции 21 августа 1849 г.

34.

‘Le Droit et la Loi’, АР, 74; Carnets, ОС, XIII, 1098.

35.

Dumas (1966), 137.

36.

Claretie (1902), 7.

37.

VHR, 98.

38.

‘Tristesse d’Olympio’, Les Rayons et les Ombres.

39.

16 ноября 1804 и Barthou (1926), 48.

40.

30 августа 1800: Barthou (1926), 26; датировано 10 декабря 1802 г. См. в: Victor Hugo, 1885 —1985, № 2.

41.

Barthou (1926), 36.

42.

Foresi (14) от друга его дяди. Дом, в котором жила семья Гюго, так и не был найден.

43.

Barbou (1886), 23.

44.

16 ноября 1804 г.: Barthou (1926), 48.

45.

Февраль 1815: CF, I, 30–36.

46.

Les Misérables, III, 3, 6; Littérature et Philosophie Mêlées, OC, XII, 117.

47.

‘Mon Enfance’, часть 1, Odes et Ballades. См. также Toute la Lyre, VI, 50, и Océan Vers, OC, VII, 965.

48.

Об укусах женской плоти: Stendhal, Vie de Henry Brulard, гл. 3; Balzac, Le Lys dans la Vallée: Balzac (1976–1981), IX, 984; André Gide, Si le Grain ne Meurt (1926), абзац 12. Старейшие образы Гюго – неплохой пример т. н. защитной памяти: Freud (1914), гл. 4; Baudouin, 66–67. Образ колодцев в творчестве Гюго: 83–86.

49.

VHR, 123, ср. о встрече младенца Леонардо с хищной птицей: Freud (1963), гл. 2. (В данном случае Фрейд – действительно автор трудов, о которых идет речь, а не собирательный образ. Замечания в «Психопатологии повседневной жизни» содержат общие фантазии, а не воспоминания о действительных событиях.)

50.

Judith, 115–116. В 1829 г. Гюго объявил, что задумал книгу под названием «Мемуары девятилетнего» (Les Souvenirs d’un Enfant de Neuf Ans): Denis, 41.

51.

Stapfer (1905), 125.

52.

Freud (1914), гл. 10. См. также «Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905).

53.

VHR, 103.

54.

Hillairet, I, 338.

55.

Sainte-Beuve (1831), 103; Le Barbier.

56.

Les Misérables, III, 4, 6.

57.

Слово «партизан» вошло во французский и английский языки во время Пиренейской войны, которая началась несколько месяцев спустя.

58.

VHR, 106. См. также 205.

59.

Hernani, II, 3.

60.

13 февраля и 11 марта 1806 г.: Barthou (1926), 61, 63.

61.

Dumas (1966), 142–143.

62.

Promontorium Somnii, OC, XII, 660; Religions et Religion, OC, VI, 996.

63.

‘À Charles Hugo’, AP, OC, X, 633.

64.

VHR; Pierre Foucher, 118.

65.

Stendhal (1936), IV, 130–147.

66.

9 июня 1806 г.: Barthou (1926), 68.

67.

Odes et Ballades, V, 9.

68.

См. ниже, гл. 4.

69.

Dumas (1966), 143.

70.

L’Art d’Être Grand-Père, I, 6.

71.

Barthou (1926), 78.

72.

В оригинале: «à nous en inspirer le respect» и т. д.: CF, I, 221.

73.

VHR, 134; Hillairet, I, 522–523. Табличка в переулке Фельянтинок (5-й округ) отмечает приблизительное местонахождение сада.

74.

Шесть арпанов, по VHR (127). Арпан был мерой меняющейся; в Париже – примерно 1/3 гектара.

75.

Balzac (1976–1981), VIII, 89.

76.

Ссылки на жизнь на ул. Фельянтинок можно найти в: ‘Mes Adieux à l’Enfance’, Cahiers (OP, I); ‘Novembre’, Les Orientales; ‘A Eugène Vte H.’, Les Voix Intérieures; ‘Ce qui se Passait aux Feuillantines vers 1813’, ‘Sagesse’, Les Rayons et les Ombres; ‘À André Chénier’ ‘Aux Feuillantines’, Les Contemplations, IV; ‘Une Bombe aux Feuillantines’, L’Année Terrible, Janvier; ‘À une Religieuse’, Toute la Lyre, V; Le Dernier Jour d’un Condamné, 33, 36; ‘Le Droit et la Loi’, AP, I; Les Misérables, IV, 3, 3.

77.

‘Ce qui se Passait aux Feuillantines vers 1813’, Les Rayons et les Ombres.

78.

Pierre Foucher, 113; VHR, 100–101.

79.

VHR, 125.

80.

Les Misérables, III, I, 2. Словом Sourd в Бретани также называют саламандру (Galand, Littré).

81.

Частичный каталог см. в: Duchet, Seebacher (1962).

82.

Les Misérables, I, IV, 2.

83.

См. отчет дяди Луи о его чудесном спасении в битве при Эйлау (февраль 1807 г.) в: La Légende des Siècles, II.

84.

‘Souvenir d’Enfance’, Les Feuilles d’Automne; ‘À la Colonne’, Les Chants du Crépuscule.

85.

AP, OC, X, 73.

86.

Вензак не сумел подтвердить утверждение Гюго, что Ларивьер был членом Оратории: *Premiers Maîtres*, 42–48. О Ларивьере: *VHR*, 136–137, 699, № 32; *AP*, 69; *Moi Vers*, *OC*, XIV, 318; *R. Lesclide*, 53; 'Sagesse', 3, *Les Rayons et les Ombres*.

87.

Venzac, *Premiers Maîtres*, 32–33.

88.

Notre-Dame de Paris, II, 5.

89.

AP, *OC*, X, 650, 991, 999.

90.

AP, 69–70.

91.

Histoire d'un Crime, II, 3.

92.

CF, I, 700.

93.

VHR, 146.

94.

CF, I, 43, *Pierre Foucher*, 142–143.

95.

Подозрения Пьера Фуше см. в: *Pierre Foucher*, 142–143.

96.

AP, *OC*, X, 73.

97.

AP, 71.

98.

CF, I, 42.

99.

CF, I, 31.

100.

Guimbaud (1930), 195.

101.

Garon, 84. В 1814 г. студент, получавший 3 тысячи франков в год, считался «настоящим милордом» (Там же, 85).

102.

J. Lesclide, 11.

103.

AP, OC, X, 634–635.

104.

Corr., II, 404.

105.

Alpes et Pyrénées, OC, X, 765–766.

106.

Alpes et Pyrénées, OC, X, 786–787.

107.

Rivet (1878); CF, I, 551.

108.

Océan Prose, OC, XIV, 12; VHR, 199. Southey приводит подробный отчет о разрушении Бургоса (III, 622–623; см. также 548): «Некоторые французские офицеры в начале этого предательского вторжения имели обыкновение приходить в собор и произносить отрывки из трагедии Корнеля над [могилой] Сиды».

109.

Письма Гюго на испанском, судя по всему, больше обязаны пособиям по написанию писем, чем знаниям, полученным из непосредственного опыта. Уже в 1827 г. в них прослеживаются элементарные ошибки: Hugo – Nodier, 88, 96, эпиграф к 'Dédain' в «Осенних листьях». Речь контрабандистов в «Тружениках моря» – диалект т. н. «горного испанского», главным образом из-за ошибок Гюго (I, II, 3).

110.

Сам Гюго в 1843 г. пишет «Гернани», без комментариев: OC, XIII, 788. Возможно, он отвечает на более современное надругательство над святыней – Верди убрал первую букву в своей неавторизованной «Эрнани» (1844). О вороватых оперных композиторах см.: Corr. II, 185, IV и 266; см. также Adèle Hugo, II, 431, III, 489 – иск к Доницетти по поводу «Лукреции Борджа».

111.

VHR, 213–215; Dumas (1966), 163; но ср. Abel Hugo (1833), 302–303; Гюго – Фонтани, 9 февраля 1831 г.: Massin, IV, 1122–1126.

112.

VHR, 216; Gassier.

113.

Abel Hugo (1833), 306.

114.

Odes et Ballades, V, 9.

115.

‘Novembre’, Les Orientales.

116.

Venzac, Premiers Maîtres, 426, 4.

117.

Имя другого задиры, Бельверана, стало прозвищем Губетты в «Лукреции Борджа».

118.

Les Misérables, V, 7, 1.

119.

Adèle Hugo, III, 516–517.

120.

VHR, 186–187, 200, 242–243.

121.

Les Misérables, I, 4, 1.

122.

AP, OC, X, 75.

123.

24 сентября 1813 г.: Barthou (1926), 87–88.

124.

CF, I, 34.

125.

CF, I, 26.

126.

L’Âne, OC, VI, 1061–1062.

127.

Simond, I, 325–326. 20 марта 1815 г. издание вернуло себе прежнее название, Journal de l’Empire.

128.

Les Misérables, II, I, 13 и 17.

129.

Les Misérables, 2; Dossier: OC, XV, 887–888.

130.

Carnets, OC, XIII, 1178–1179.

131.

Chateaubriand, II, 669 (XXIV, 5).

132.

AP, OC, X, 75–76; Les Misérables, V, 5, 6: «Все, у кого было таинственное детство, всегда готовы покориться невежеству».

133.

‘Ce que Dit la Bouche d’Ombre’, Les Contemplations, VI, 26, 1. 186; см. также ‘Les Fénians’, AP, OC, X, II, 584. Книга L’Astronomie de Victor Hugo Эдмона Грегюара (Droz, 1933) была написана до того, как астрономия подтвердила интуитивные догадки Гюго.

134.

L’Homme Qui Rit, II, I, 4. Следующие подробности из: William Shakespeare (Reliquat), OC, XV, 1004; Les Misérables, I, 3, I, II, 1, 18; Littérature et Philosophie Mêlées, OC, XII, 66; AP, OC, X, I, 120.

135.

Palmerston, 39.

136.

Journal de ce que J’Apprends Chaque Jour, 5 декабря 1847; Choses Vues, OC, XI, 656.

137.

J. Seebacher, обзор Boîte aux Lettres, под ред. R. Journet и G. Robert, Revue d’Histoire Littérature de la France, октябрь – декабрь 1967, 854.

138.

О пансионе Кордые см.: Choses Vues, OC, XI, 1178.

139.

CF, I, 45.

140.

CF, I, 60.

141.

CF, I, 56–57.

142.

CF, I, 50.

143.

Adèle Hugo, II, 20.

144.

VHR, 281, 285–286.

145.

Barbou (1886), 50; R. Lesclide, 52.

146.

Les Contemplations, I, 13; Les Misérables, IV, 12, 3 («Мой отец всегда ненавидел меня, потому что я не понимал математики»).

147.

Venzac, Premiers Maîtres, 276–287.

148.

Sainte-Beuve (1831), 34; Adèle Hugo, III, 214; Stapfer (1905), 29.

149.

Barbou (1886), 477.

150.

‘Le calcul, c’est l’abîme...’ Toute la Lyre, III, 67. См. также Moi, l’Amour, la Femme, OC, XIV, 274. Речь шла о новой математике Монже, Легендра и др., отфильтрованной Политехнической школой.

151.

Adèle Hugo, III, 214; Faits et Croyances, OC, XIV, 134.

152.

Barbou (1886), 51; Adèle Hugo, II, 430.

153.

Olivier, 23 1830.

154.

См. Préface de Cromwell, OC, XII, 28; Faits et Croyances, OC, XIV, 186.

155.

J. Lesclide, 278.

156.

Robb (1993), 9.

157.

Fontanes, 18 декабря 1812: Venzac, Premiers Maîtres, 143–144, № 2.

158.

Quicherat.

159.

Le Conservateur Littéraire, 25 декабря 1819. Вначале существовал в виде неопубликованного стихотворения в пиратском издании Les Feuilles d'Automne, suivies de Plusieurs Pièces Nouvelles (Brussels: Méline, 1835).

160.

'Sur une Corniche Brisée' описывает скорее игру в футбол, чем choule, где можно было бить по мячу всеми частями тела.

161.

'Les Places', OP, I, 148–149; Littérature et Philosophie Mêlées, OC, XII, 78.

162.

Étude sur Mirabeau – см.: Littérature et Philosophie Mêlées, 227. Сент-Бев указывает, что этот образ описывает собственный стиль Гюго (отрывок, датированный февралем 1834 г., в: Les Grands Écrivains Français, M. Allem (Garnier, 1926), 99).

163.

A.Q.C.H.E.B. [A Quelque Chose Hasard Est Bon] (1817): OP, I, 91.

164.

Quatrevingt-treize, III, 2, 12.

165.

Venzac, Premiers Maîtres, 152.